

**ИВАН
ИВАНОВИЧ
ЛАЖЕЧНИКОВ**

ПОСЛЕДНИЙ НОВИК.
ТОМ 1

Россия державная

Иван Лажечников

Последний Новик. Том 1

«Public Domain»

1831–1833

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Лажечников И. И.

Последний Новик. Том 1 / И. И. Лажечников — «Public Domain»,
1831–1833 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03590-6

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) – русский писатель, драматург, мемуарист; зачинатель жанра исторического романа в русской литературе. Ему удалось не только достоверно передать быт и нравы, традиции и предания, предрассудки и заблуждения исторического прошлого, но и воплотить сам образ и дух эпохи, создать живые и полнокровные характеры многих исторических лиц. В первый том данного издания включены I и II части исторического романа «Последний Новик», рассказывающего об одном из периодов Северной войны 1701–1703 гг. между Россией и Швецией – о борьбе Петра I за обладание Прибалтикой, необходимой России для выхода к берегам Балтийского моря. Царь Петр выступает как подлинный патриот, мудрый правитель, поборник просвещения, справедливый и простой в обращении с подданными. Действие повествования разворачивается в Лифляндии во время похода русских войск под командованием Шереметева. Герой романа входит в доверие к шведам, но тайно помогает русской армии, что способствует ее победе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03590-6

© Лажечников И. И., 1831–1833

© Public Domain, 1831–1833

Содержание

Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	13
Глава третья	21
Глава четвертая	26
Глава пятая	32
Глава шестая	38
Глава седьмая	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Иван Иванович Лажечников
Последний Новик
Том 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть первая

Глава первая Вместо введения

*Вот новость для меня! – Да кто же тот шалун,
Кто смел, без моего и плана и совета,
Всю важность поддержать столь трудного сюжета?
Тут надобен язык, приятный, легкий слог!
Спросил бы у меня – и я б ему помог!*
Комедия «Говоруны», Хмельницкий

Долго страдала Лифляндия под игом переменных властителей, пока не достигла нынешнего своего благосостояния. То рыцари немецкие, искавшие иные опасностей, славы и награды небесной, другие добычи, земель и вассалов, наступили на нее, окрестили ее мечом и первые ознакомили бедных ее жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями; то власти, ею управлявшие, духовные и светские, епископы и гермейстеры¹, в споре за первенство свое, терзали ее на части. То русские, считая ее искони своею данницею, нередко приходили зарубать на сердце ее древние права свои или поляки и шведы, в борьбе за обладание ею, душили первые силы ее общественной жизни. Война железною рукою повела ее вдоль и поперек всеми бедствиями своими. Вера без верования, с примесью идолопоклонства, невежество, бесчеловечие, самоуправство означили время существования Лифляндии до начала XVII века. Изредка оживлено было это время проблесками великих характеров – и цветущей торговли, прибавил бы я, если бы богатства ее придали тогда что-нибудь ее просвещению, а не послужили, как это случилось, к усилению ее развратной роскоши.

Только с именем Густава-Адольфа² соединяется воспоминание всего прекрасного и великого; он, в одно время защищая свободу мнений и подписывая устав Дерптского университета, бережно снял кровавые пелены с Лифляндии и старался утешать ее раны. Но счастье ее было кратковременно. Дочь Густава, этот феномен ума и странностей³, хотела только собирать дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Христина, покровительница ученых, отняла у Дерптского университета его земли; она хвалилась любовью к человечеству и за новые пожертвования страны отдала ее новыми налогами. Вслед за тем нивы лифляндские были истоптаны победами русских (при царе Алексее Михайловиче). Мир в Кардисе возвратил это спорное пепелище шведам, но не водворил в него долговременного спокойствия.

С царствованием Карла XI настали самые черные годы для лифляндского дворянства. Желая поправить расстроенные финансы Швеции, он повелел *редукцию*⁴ имений, принадлежавших некогда правительству и правительством же подаренных частным лицам в потомственное владение во времена епископов, гермейстеров и королей. На этот предмет учреждена была

¹ Гермейстер – глава рыцарских орденов меченосцев и Тевтонского в Ливонии (нем.).

² Густав-Адольф (Густав II Адольф; 1592–1632) – шведский король; во время господства Швеции в Прибалтике способствовал ее просвещению, создал университет в Дерпте, пользовался симпатиями лифляндского дворянства.

³ Христина, шведская королева (1632–1654), блестяще образованная женщина, изучившая семь языков. Для современников многое в ее жизни было загадочным: переход из лютеранства в католичество и отречение от короны в молодом еще возрасте в пользу двоюродного брата Карла XI. После отречения от короны Христина жила в основном в Италии, покровительствуя художникам и ученым.

⁴ Редукция – изъятие дворянских имений в Лифляндии, проводившееся шведским правительством с 1655 г., но затянувшееся из-за непрерывных войн до конца 1670–1680 гг.

комиссия. Рассуждению ее подлежало также узаконение великое и благодетельное, за которое надлежало бы человечеству благословлять память государя, творца этого узаконения, если бы оно не смешивалось в одно время с своекорыстными видами. К тому же меры и способы исполнения были приняты несправедливые, насильственные и жестокие; исполнители преступили волю государя – и цель самых благодетельных видов правительства была потеряна. В позднейшее время предоставлено было миротворцу Европы⁵ сделать важный приступ к соглашению человеколюбия с сохранением прав собственности, к сближению враждующих между собою одного класса народа с другим и тем собрать на себя еще при жизни, посвященной счастью великой империи, благословения лифляндских помещиков и земледельцев. Не так действовал своекорыстный Карл XI. За ужасными словами *редукция* и *ликвидация*⁶ последовало дело, и отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести с лишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, с лишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцам и при церквах. Против начетов этих трудно было спорить: их составлял любимец Карла, председатель редукиционной комиссии граф Гастфер, запечатлевший имя свое в летописях Лифляндии ненавистью этой страны; их утвердил сам государь, хозяин на троне искусный, хотя и несправедливый, который, подобно Перуну⁷, имел золотую голову, но держал всегда камень в руках.

Оставалось угнетенным просить: они это и сделали, послав к королю от лица дворянства лифляндского депутацию с трогательным адресом о смягчении, хотя несколько, приговора его. Ответом были новые унижения. К большому несчастью их, один из членов депутации, Иоган Рейнгольд Паткуль⁸, увлеченный красноречием правды и негодования, пылкостью благородного нрава и молодых лет⁹, незнакомых с притворством, осмелился обвинить любимца королевского, Гастфера, в преступлении данной ему свыше доверенности. Паткуль осужден к отсечению правой руки, лишению имения, чести и жизни, а товарищи его: Фитингоф, Менгден и Буденброк – только к смерти. Вскоре приговор трем последним был заменен вечным заключением; наконец дарована им свобода. Первый же успел бежать от наказания в Швейцарию, где прожил несколько лет под чужим именем. Между тем в отечестве его бедность и отчаяние во многих семействах были неизъяснимы: вспыхнул ропот, тайными путями перебежал по мызам и – погас со вступлением нового государя на престол шведский. Добрые лифляндцы умели терпеливо ждать у моря погоды.

В таком состоянии застал страну эту Карл XII, о котором сказать можно, что он рожден быть полководцем, но ошибкою судьбы призван царствовать. Вскоре от Бельта¹⁰ до Вислы развеялись победоносные знамена его. Под эти призывные знаки чести спешили завербовать себя молодые лифляндские дворяне, забыв угнетения шведского венца и горя жаждою вновь запечатлеть кровью своею благородство рыцарского происхождения, которому ни предки, ни потомки их не изменяли. Отцы новобранцев, отпуская к королю живые залогов преданности к нему Лифляндии, казалось, вверяли его великодушию свои и отечества надежды. Но двадцатилетний герой, окруженный восторженными раннею его славою офицерами и солдатами, переходя от торжества к торжеству, грезил только победами и мало заботился об утешительных ожиданиях своих подданных. Хотя и обещал он в 1700 году облегчить участь лифляндских помещиков, однако ж не думал никогда выполнить это обещание. Еще не забыта им была

⁵ Миротворец Европы – Александр I.

⁶ Редукция и ликвидация имений – изъятие у феодальной лифляндской аристократии правительством шведского короля Карла XI перешедших в ее руки государственных земель.

⁷ Перун – у восточных славян бог грома и молнии, бог земледелия, податель дождя.

⁸ Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660–1707) – лифляндский дворянин, возглавивший в 1689–1694 гг. движение за восстановление прав и привилегий местного дворянства и отмену редукиции.

⁹ Ему было с небольшим двадцать лет.

¹⁰ Бельт – Балтийское море; Большой и Малый Бельт – название проливов, ведущих в Балтийское море.

депутация 1692 года¹¹, обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования; не забыт еще был смелый и красноречивый голос Паткуля. Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит тою и другою опаснейшему его неприятелю, – и поклялся в лице его унижить лифляндских дворян его партии и отомстить ему, хотя бы ценою славы собственной.

Провидению угодно было, чтоб на пути храбрых замыслов Карла остановил его соперник, явившийся с неожиданной стороны. Это был наш Петр I. Помня слова великого предка своего «*А Лифляндския земли не перестать нам достигать, докудова нам ее бог даст*»¹² и желая стать твердою ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатства и просвещение Европы, он бросил Карлу перчатку будто за оскорбление, сделанное ему рижским комендантом Дальбергом. Где ближе было им разведаться, как не в стране, которую оба они почитали своею отчиною? Здесь-то преобразователю России определено было получить от царственного учителя своего жестокий урок и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался. «*Я знаю, – говорил он после нарвской потери, – что шведы будут бить нас еще раз несколько; но теперь мы ученики их: придет время, что мы их побеждать будем*».

Карл приезжал, казалось, под Нарву выиграть заклад. Отважный, но слишком самонадеянный и малорассудительный, вместо того чтобы воспользоваться успехами своими и укрепиться в Лифляндии, он посвятил зиму в Лаисе забавам звериной охоты, побил мимоходом саксонцев под Ригою и отправился в другой край Европы пошеголять своей непобедимой армией, как дитя полученною им в дар острою саблею, которою в первый раз владеет и спешит рубить все, что ему навстречу попадется. Не так действовал противник его: он пользовался временем отдыха, данного ему соперником счастливым, чтобы созидать войско и флот. Уже в конце 1701 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, с остатками полков, уцелевшими от лозы шведского героя, и с корпусами, вновь образованными, сторожил от Пскова лифляндскую грань. Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из заливов Чудского озера и разгульем мимо шведской флотилии, притаившейся в устье Эмбаха, вызывать ее *на чистую воду*.

Сыну военачальника предоставлено было открыть кампанию: близ этого озера, под мызою Рапин, *волонтер* Михайла Борисович Шереметев разбил четвертого сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал – в ответ на упрек своего государя: «*Полно отговариваться, пора дела делать!*» – отпраздновал первый день 1702 года первую знаменитую победой при Эррастфере¹³, заставившей Петра I сказать: «*Благодарение Богу! мы уже до того дошли, что шведов побеждать можем*». Остальные месяцы зимы и всю весну военачальник осторожно высматривал силы неприятеля, выжидал их раздробления как последствия разносторонних слухов, лукаво пущенных в становья шведские, и, показывая некоторую робость, *надеялся* усыпить северного льва¹⁴ у ворот самой Лифляндии. Может быть, Шереметев – распорядитель и герой в поле, Фабий или Кутузов¹⁵ тех времен – простер эту осторожность слишком далеко и мог бы потерять плоды своих соображений, если б имел противника более сметливого и смелого, нежели каков ему дан был Карлом XII.

¹¹ В 1692 г. лифляндское дворянство избрало комиссию в составе четырех человек для защиты интересов Лифляндии перед шведским королем. В эту комиссию входил Паткуль, он же написал прошение шведскому королю об отмене редукации.

¹² Грамота царя Иоанна Васильевича к Ягану, королю Свейскому. 1573/7081 января 6/18. Смотри Древнюю Вивлиофику.

¹³ Сражение при Эррастфере (местечко близ Дерпта), в котором шведские войска потерпели поражение 29 декабря 1701 г., имело грандиозный моральный эффект.

¹⁴ То есть Карла XII: Лажечников намекает на шведский герб, изображавший льва с короной на голове.

¹⁵ Автор сопоставляет Шереметева с полководцами, прославившимися осторожностью и осмотрительностью. Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г. до н. э.) – римский полководец, за его излюбленный тактический прием изматывания противника прозванный современниками Кунктатором (Медлителем).

Мы видели, что нетерпеливый характер государя разогрел душу военачальника упреком. Четыре слова кстати – и в этих словах заключалась победа. Шереметев доказал, что достоин понимать их, что имеет все качества хорошего военачальника, и потом, опять увлеченный умом осторожным, холодным, погрузился в соображения, благоразумные, полезные, это правда, но уже слишком долго выдерживаемые. На этот раз полководец выведен был из бездействия внушениями Рейнгольда Паткуля, генерал-кригскомиссара и ближайшего советника его.

Надо оговорить, что Паткуль, приговоренный к казни, бежал из Швеции на берега Женевского озера. Оттуда, скучая праздною неизвестностью, перешел ко двору польского короля и неприятеля Карла XII, Августа¹⁶, но, и при этом государе, вялом, ненадежном, неславолюбивом, найдя круг действий своих тесным, вступил в службу к Петру I. Скоро исполинские дела, простота, твердость и величие души русского царя привязали к нему навсегда благородного лифляндца. С другой стороны, тому, кому нужно было все вновь творить в России, любившему, чтобы между мыслью его и исполнением не было холодных промежутков, часто уничтожающих самые лучшие намерения, нужны были и люди с пылким, предприимчивым характером. Он скоро полюбил нового своего подданного, умевшего понять его. Можно сказать, что Паткуль был достоин всей вражды Карла и доверия Петра: оба чувства эти умел он равно питать, равно оправдывать. При дворе нового государя своего он был хитрый, проницательный министр, быстрый исполнитель его видов, вельможа твердый, хотя иногда слишком нетерпеливый, не знавший льстить ни ему, ни любимцам его, выше всего почитавший правду и между тем неограниченно преданный его выгодам и славе. Политические расчеты Паткуля, последствиями оправданные, доказывают, каким дальновидным умом он обладал. Он первый утвердил русского монарха в мысли завоевать *для себя* Лифляндию: он видел, что исполнение мысли этой было не по силам колебавшегося духом Августа и что одному Петру можно было сдержать и понести ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед Великим план свой, прочел он в одном его взоре отпадение родного края от Швеции и присоединение его к возраставшему могуществу России. Этим гениальным взором Паткуль был уже отмщен за наследственные оскорбления двух шведских королей.

Вывожу его на сцену моего романа в одну из занимательных эпох его жизни: здесь-то он всего себя посвятил мщению, чувству, которое господствовало в нем над высокостью помыслов и деяний и, может стать, было единственным их источником. Не только рукою действует он против отрядов шведских, он работает сердцем и головой, приводит в движение все сокровенные пружины ухищренной политики, даже не всегда разборчивой, чтобы подрывать основание шведского могущества. Для достижения своей цели изыскивает он все средства и ни одного не отвергает. Часто действия свои сопровождает чудесностью; досаждая делом врагам, он любит еще посмеяться над ними смелыми проказами, нередко приводящими его жизнь и честь в опасность, от которой только имя его, дорогое патриотизму, изобретательный ум и преданные друзья могут его освободить.

На границе псковской, в середине Лифляндии, Паткуль имеет друзей, преданных, подкупленных, оболыщенных, ему усердно содействующих; в знатнейших домах лифляндских агенты и лазутчики его всякого звания неусыпно обо всем разведывают и передают ему сведения о движениях шведов и замыслах их партий. Немногочисленные, но верно избранные, хитрые, благоразумные, испытанные в верности к нему, они свили гнездо врагов для Швеции в сердце самой Лифляндии. Осторожно разбужено ими чувство прав собственности, сие непобедимое в человеке чувство. Уже шепчет оно мщению, что час его настал. Сначала робко вкрадывается неудовольствие в дворянские дома; потом, усиливаемое войною без цели, без пользы для отече-

¹⁶ Август II Сильный – курфюрст саксонский и польский король (1697–1706 и 1709–1733), союзник Петра I в Северной войне. Разбитый Карлом XII, Август отрекся от короны, но в 1709 г. был вновь восстановлен на польском престоле Петром I.

ства, смелее говорить начинает в гостиных. Политика занимает всех: военных, студентов, женщин, купцов, духовных. Судят о действиях шведского правительства, начинают и осуждать их. Недоверие, потом некоторая холодность возрождаются между шведами и ливонцами. Благоразумнейшие из последних предугадывают уже, что самое положение Ливонии, отделяя ее морем от Скандинавского полуострова, должно, рано или поздно, прикрепить ее нравственно к России, как она физически прикреплена к материке ее. Они видят, что Карл явно пожертвовал отечеством их своенравному героизму; но предпочитают остаться верными законному правительству и предоставляют жестокостям войны решить судьбу их и выбор нового владыки. Многие, даже из почитателей короля, идут уже за торжественной колесницей его, как за величественной похоронной процессией. Одна молодежь не охлаждается в энтузиазме к нему и готовится в честь его переломить не одно копьё.

В эти смутные времена Ливонии генерал-вахтмейстер¹⁷ Шлиппенбах, главный начальник шведских войск, оставленных на защиту Ливонии, беспечно расположился на квартирах от Сагница до Гельмета. Небольшим конным отрядом наблюдал он близ Розенгофа, на берегу Шварцбаха, дорогу от Новгородка Ливонского (Нейгаузена), готовый протянуть крыло свое в помощь Дерпту или Риге либо, в случае неудачи, обезопасить себя уходом в одну из этих крепостей. Силы его ослаблены гарнизонами в них и несогласием начальников. Между тем, ободренный осторожностью русского полководца, которая начинала казаться ему робостью, решился он неожиданно напасть на него в нейгаузенской долине и тем загладить стыд Эррастферской битвы.

В таком состоянии, к первым числам июля 1702 года, были дела Ливонии, колеблемой, как дерево, опаленное грозой и вновь оспариваемое противными ветрами. Последними тяжкими опытами должна она была искупить свое будущее благосостояние.

Вот несколько слов, необходимых для пояснения происшествий, о которых я рассказывать намерен.

На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа *Ливонии*, которой одно имя звучит уже иноземным, скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают, в сравнении с Ливонией, красотами местной природы, но потеряют перед ней историческими воспоминаниями. В палладиумах¹⁸ наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью; но в живописных горах и долинах Ливонии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Бельта русский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы; здесь русский воин положил на грудь свою первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему Богом над образованным европейским солдатом; отсюда дивная своею судьбою и достойная этой судьбы жена, неразлучная подруга образователя нашего отечества и спасительница нашего величия на берегах Прута¹⁹; здесь многое говорит о Петре беспримерном. Вот причины моего предубеждения к Ливонии! Эррастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург²⁰, Канцы, Луст-Эланд – ныне *имена* мест, едва известные русским, между тем как в них происходили те великие явления, о которых идет дело. К этим-то местам хотел бы я пробить свежую, цветистую дорогу; хотел бы, чтобы любовь к народной славе, посещая их, с гордостью указывала на них иноземцу и чтобы сердце

¹⁷ Генерал-вахтмейстер – один из высших воинских чинов шведской армии.

¹⁸ Палладиум – оплот, щит, защита (лат.).

¹⁹ Автор имеет в виду вторую жену Петра I – будущую императрицу Екатерину I (1684–1727), принимавшую участие в Прутском походе 1711 г. По сообщению ряда историков, она подкупила великого визиря, отдав ему свои драгоценности, и тем самым способствовала заключению необходимого для России мирного договора с турецким султаном.

²⁰ Мариенбург – по-латышски Алуксне.

русского билось сильнее, повторяя их имена. Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно отсвечивается сильнее; между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбой влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно – без унижения, однако ж, неприятелей наших того времени, которое описываю. Вот чего хотел я достигнуть, помещая героя моего в Лифляндии!

Доволен буду, если решу задачу, предложенную мне сердцем, и вместе доставлю моим читателям приятное прохождение времени.

Глава вторая Долина мертвецов

*И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья...
И все как мертвое окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птичка не промчится.
Но полночь лишь сойдет с небес —
Вран черный вострепетает,
Зашепчет пробужденный лес,
Могила потрясется;
И видится бродяща тень
Тогда в пустыне ночи...
«Двенадцать спящих дев», Жуковский*

На пути от Мариенбурга к Менцену (иначе названному *Черною мызою*) останавливаясь не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней-Розенгоф. Дорога большею частью идет по горам и между гор, разнообразных, как игра воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный ветер; то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамой зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться; то встают гордо, одинокие, в пространной равнине, как боец, разметавший всех противников своих и оставшийся один господином поприща; то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство исполину этих мест, чернеющему Тейфельсбергу. Почти каждая гора имеет свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роща букетом, по другой разлилась, как по шлему, косматая грива; третью черный сосновый бор оградил стеной зубчатой. Там кустарник окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картину оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени или золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижины, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда, или стоят смиренно за щитом подножия их с частоколами и овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена (тридцать шесть верст) не перестает оглядываться на вас кирка оппекаленская – будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге (*Чертовой горе*) и пугает прохожих только ночью, когда золотой петух оппекаленского шпиля из глаз скроется. Вид с высоты Ней-Лайтценской мызы очарователен: панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор, озер, рощ и селений. С трудом отрывается путешественник от этого места. Немного далее за мызою горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами; но при появлении речки Вайдау, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Верровский²¹ от Валкского, природа дарит вас приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятнее долина близ мызы Ней-Розенгоф (в недавнем еще времени называемой *Катериненгоф*).

В начале XVIII столетия, по дороге от Мариенбурга к Менцену, не было еще ни одной из мыз, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста; а в тогдашнее время, когда война с рус-

²¹ Верровский уезд с главным городом Верро (ныне – Выру).

скими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах, в тогдашнее время, говорю я, едва встречалось здесь живое существо.

Несмотря на эти опасения, в одно из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошаdkами. День был жаркий. Полуденное солнце, в одинаком величии своем протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить его, лило горящие лучи свои прямо на темя земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновения обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение: едва струились изредка верхи дерев; неохотно переливались волны зреющей жатвы; медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрусталя. Все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых нив; стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные, оцепенев, с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады.

С трудом ползла карета сквозь пески, нередко попадающиеся на пути. По щегольской отделке ее, особенно заметной в золотых обводках с узорами около огромных рам в виде несомкнутой цифры восемь, в золотых шишках, украшающих углы империаля²², в колонцах по двум передним углам кузова и розовом венке в голубом поле, изображающем на дверцах герб ее обладателя, можно было судить, что она принадлежала зажиточному барону. Две рыжие лошадки, эзельской породы, по-видимому сильные, почти отказывались тащить ее; шоры на них были взмылены. Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь. Не видно было, кто сидел в нем, потому что розовые шелковые шторы были опущены. Кучер, в треугольной шляпе, нахлобученной боком на глаза, в кафтане, которого голубой цвет за пылью не можно бы различить, если бы пучок его, при толчках экипажа, не обметал плеч и спины, то посматривал с жалостью на свою одежду, то с досадою сгонял бичом оводов, немилосердно кусавших лошадей, то, останавливая на время утомленных животных, утирал пот с лица. Заметно было, что жалостный возничий мучился за себя и за них. По правую сторону кареты ехал верхом на тощем, высоком коне офицер, под пару ему долговязый и сухощавый. На нем был мундир синего цвета²³; треугольная шляпа, у которой одна задняя пола была отстегнута, кидала большую тень на лицо, и без того смуглое; перчатки желтой кожи раструбами своими едва не доставали до локтя; к широкой портупее из буйволовоy кожи, обхватывавшей стан его и застегнутой напереди четверугольной огромной медной пряжкой, привешена была шпага с вальжным эфесом, на котором изображены были пушка дулом вверх и гранаты; кожаные штиблеты с привязными раструбами довершали эту фигуру. Если бы не двигалось под нею высокое животное, она по важности своей походила бы на монумент. Офицер был в полном вооружении: ручки пистолетов торчали из чушек; к седлу прикреплен был карабин. Путешественники погружены были в глубокое молчание. Наконец возничий прервал его, сначала глубоким: уф! потом, видя, что это восклицание не имело желаемого действия, униженно снял шляпу и, обратившись к офицеру, сказал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер²⁴...

– Сначала покройся, не то испечешь лысую голову твою, как яйцо, а потом начинай свою речь, – перехватил его важным голосом путешественник, ехавший верхом.

Кучер опустил шляпу в знак благодарности, потом надел ее и продолжал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер, мои лошади не горшки, а я не горшечник, чтобы их жарить в этом пекле. Госпожа баронесса настрого приказала побереечь их, во-первых, потому, что она любит всех животных, от лошади до кошечки, от попугая до чижичка, как вы изволите

²² Империяль (фр.) – верх дорожной кареты с местами для пассажиров.

²³ Синий мундир – форма шведских войск.

²⁴ Цейгмейстер (цейхмейстер) – военный офицерский чин в артиллерии (нем.).

знать; во-вторых... эка бестия овод сел на самый крестец Арлекина!.. эти зверьки привезены с острова Эзеля на большом судне, как бишь его звали?

Кучер наморщился и поколотил себя пальцем по лбу, как бы выбивая оттуда память.

– Мимо название! потом?

– Потом они подарены баронессе дядей жениха...

– Фюренгофом?.. Неужели он в жизнь свою хоть раз дарил?

– Был с ним этот промах! Поохал, может статья, ночек с сотню, да с конюшни нашей воротить рыжаков уж было нельзя. Что к нам попало, то пропало. О чем бишь я говорил? да! об рыжаках. Вот видите, они подарены баронессе нашей дядей жениха нашей молодой госпожи... смекаете, сударь... госпожи, которую, как вы знаете, господин цейгмейстер... (увидя, что овод кусает лошадь) собака! кровопийца! перелетел на Зефирку!.. которую, заметьте, она любит, как самое себя, или себя в ней любит (из кареты послышался хохот, да и на лице угрюмого офицера мелькнула усмешка; однако ж начавший речь, не смешавшись, продолжал). Но я сам им не злодей, то есть рыжакам, Арлекину и Зефиру; говорю то есть, чтобы ваша милость не подумала, что я говорю о баронессе или о ком-нибудь из почтеннейшей фамилии Зегевольдов. Нет, я им не только не злодей, но люблю их и уважаю, во-первых...

– Ни первых, ни вторых, пустомеля! Твои слова как татары в сражении: рассыпаются в стороны так, что наш рейтар²⁵ не знает, которого и как настигнуть. Думает уловить под палаш одного, а попадается другой. Без обиняков, скорее, к делу.

– Я хотел сказать, что лошади устали.

– Ну!

– Да уж они и нуканья не слушают, сударь. Мы проехали от Мариенбурга (тут кучер начал считать что-то по пальцам), да! именно, на этом мостике ровно четыре мили, что мы проехали. До Менцена еще добрая и предобрая миля; будут опять пески, горы, косогоры и бог знает что. Вздохните хоть здесь, на мосту, бедные лошадки, если уж к вам так безжалостливы. И пушке в сражении дают отдых, а вы все-таки создание Божье!

– Ты с ума сошел, Фриц! Да кто ж, доннерветтер²⁶, мешаает нам остановиться в ближайшей долине и покормить лошадей?

В это время одна из розовых штор у правого окна кареты поднялась, и ручка, которой удивительную белизну позволяла видеть спущенная по кисть перчатка и короткий, не доходивший до локтя рукав, по моде тогдашних времен, опустила стекло. Молодая прелестная женщина выглянула из окошка и, подозвав к себе рукой офицера, шепнула ему:

– Ради бога, Вульф, упрсите господина пастора остановиться в долине, о которой я вам на днях рассказывала.

Офицер не отвечал ничего, но кивнул дружески в знак согласия, остановил своего коня, неуклюжего и неповоротливого; потом, дав ему шпоры, повернул к левой стороне кареты, наклонился к ней и осторожно постучался пальцами в раму. В ответ на этот стук выглянуло из окна маленькое сухощавое лицо старика со сверкающими из-под густых бровей серыми глазами, с ястребиным носом, в парике тремя уступами, рыже-каштанового цвета, который, в крепкой дремоте его обладателя, сдвинулся так, что открыл лысину вразрез головы.

– Я слышал все сквозь дремоту, – сказал это новое лицо, поправляя свой парик, – и одобряю от души Фрицево желание и ваше согласие, любезный господин цейгмейстер. Мне самому так жарко, как бы я принял потогонительное. Да где ж вы думаете остановиться?

– В долине, напротив которой стоит на горе крест, – отвечал офицер, – лучшего места для отдыха нельзя найти до Менцена.

²⁵ Рейтар – кавалерист. Полки рейтар были учреждены в России со второй четверти XVII в. и просуществовали до военной реформы Петра I. В рейтарах служили мелкие дворяне; личный состав рейтарских полков на одну треть состоял из иностранцев.

²⁶ Черт возьми (от нем. Donnerwetter).

Улыбка бежала уже на губы Фрица, но он не дал ей вылиться наружу.

– В *Долине мертвецов*, господин пастор? помилуйте! – закричал он с ужасом, вытянув шею, как испуганный журавль, стоя на часах.

Молодая женщина засмеялась от души; пастор с улыбкой произнес:

– Давно ли стали мы так трусливы, Фриц? и что за новую сказку сплели здешние жители? – Потом он присовокупил вполголоса, качая головой и уставя перед маленьким лбом указательный палец правой руки. – Какое-нибудь старое поверье, грубое невежество! остатки идолопоклонства! Так! церковь далеко – духовный пастырь также. Надо придумать, как это вывести; надо разобрать это, взять меры, средства. Это наша обязанность, наш долг! Всего лучше прибрать сильный текст из «Латышской Библии», мною изданной²⁷. Но речь не о том: расскажи-ка, Фриц, откуда выкопал ты название этой долины?

– Сказкой своей ты сократишь нам путь до назначенного места, – примолвила сидевшая в карете.

– Опять-таки до назначенного места, – отвечал угрюмо кучер, – вы все шутите, фрейлейн. Хорошо еще, что мы едем в полдень; другое бы заговорили, кабы проезжали Долину мертвецов ночью до кочетов. Тогда в ней деются такие чудеса, что и... кого бы назвать бесстрашнее всех?.. да, например, кто бесстрашнее шведского офицера?.. и у того, с позволения сказать, господин цейгмейстер, побегут мурашки по коже, когда увидит бесплотного барона этой долины. Осмелюсь вам поперечить, господин пастор, – со всем уважением к вашему сану, – это не сказка, не выдумка, а... (озирается со страхом кругом и вглядывается пристально в густоту леса) я доложу вам, во-первых, о том, что видел своими глазами. Вы знаете, что я не люблю труса праздновать.

– Знаем, знаем! – закричали в один голос духовный отец и военный. – Но бывают сверхъестественные силы... – прибавил с притворным ужасом последний, давая пастору знак головой, чтобы он подтвердил его слова.

– Конечно, бывают... мы сами не можем вовсе отвергнуть, чтобы...

– Чтобы, любезный папахен, вы не сговорились с любезным братцем попугать меня, – возразила девушка, лукаво улыбаясь. – Это вам не удастся. Может быть, приличнее мне, женщине, бояться. Вульф это часто твердит и дает мне в насмешку имена мужественной, бесстрашной; но он позволит мне в этом случае вести с ним войну, чтобы не быть в разладе с моею природой. Рабе останется тем, чем была еще дитею.

– Речь не о том, – прервал с некоторым нетерпением пастор. – Послушаем, что расскажет нам вожатый наш в царство теней.

– Готовы слушать! – вскричали в один голос офицер и девушка.

– Прошу всепокорнейше внимания, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, – произнес важно Фриц, раскланиваясь на обе стороны шляпой, – и верьте, что конюший баронессы, который, во-первых, никогда еще не лгал, особенно перед столь почтенными господами...

– Во-вторых, начнет теперь, – сказала сидевшая в карете.

– Слушай же, Кете! – вскричал сердито пастор, и та, к которой он обращался с этим восклицанием, смиренно опустила длинные черные ресницы на прекрасные черные глаза, полные огня и остроумия.

– Только без пунктиков, Фриц, без пунктиков, которыми ты любишь зарубать свою речь, – примолвил офицер.

– Прошу извинения, господин цейгмейстер! (Фриц снял униженно шляпу и, по знаку своего повелителя, опять надел ее.) – Привычка пуще неволи; топи ее в море слов, а все где-нибудь вынырнет. Вот, например, господин Ле... Лио... ох! эту фамилию забываю вечно.

²⁷ Глику, вместе с рижским суперинтендентом Фишером, обязана Лифляндия переводом Библии на латышский, начатым в 1680 г. и конченным в восемь лет.

– Фамилию мимо!

– Он был в старые годы закройщик, ныне лифляндский дворянин с прибавкою *фон*.

– Лифляндский дворянин? – прервал с горькой усмешкой старик, сидевший в карете и терявший вовсе терпение. – Неправда! Лейонскрон из числа тех восьми графов, двадцати четырех баронов и четырехсот двадцати восьми дворян шведских, которых угодно было королеве Христине – не тем бы ее помянуть! – вытащить из грязи. Надо называть каждую вещь своим именем; всякому свое, Фриц!

– Сушая справедливость, господин пастор! Вот этот Лейонскрон был в чести, как вы изволите знать...

– Чтоб его...

– А все-таки имел привычку шевелить пальцами, как будто кроил ножницами, хотя бы на меня, грешного, кафтан. Так-то несет еще и от меня точностью фискального судьи²⁸, потому что, как вы изволите знать...

– Знаю, знаю!.. чтоб тебе... Минерва²⁹ привязала замок на рот! – пробормотал с сердцем пастор и, готовый вынести только последнюю осаду своего терпения, углубился в карету.

– Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала своим просителям, искавшим пропуска запутанному дельцу: *во-первых*, милостивый государь! Проситель смекал, приносил первое, тогда *во-вторых* не задерживалось в судейском горлышке, и дело пропускалось гладко и скоро, как лодка по наполненному шлюзу. Он так же строго взыскивал с меня, если я излагал ему дело о покупке овса, сена и прочего для лошадей не ясно, не по пунктам, как теперь...

– Что еще, проклятый болтун?

– Наш амтман³⁰ Шнурбаух взыскивает с меня, когда не прибавляю словечка *фон*, обращаясь к нему; а перед баронессою, поверите ли, господин цейгмейстер, стоит, как натянутая струнка!

– Ха, ха, ха! спесь рыцарей меча и низость бременских купцов, все вместе!.. Вот эти *patres patriae, defensores justitiae!*³¹ – вскричал, коварно смеясь, путник, ехавший верхом.

– Низость бременских купцов? низость... Гм! – сердито проворчал пастор сквозь зубы. – Это говорит швед! в Лифляндии! ищет еще руки лифляндки!.. Прекрасно! бесподобно!

Девушка, видя, что между спутниками ее скоро загорится война не на шутку, поспешила еще вовремя тушить ее. Она обратилась к Фрицу с убедительной просьбой начать обещанную повесть. Догадливый кучер, сообразив время и длину пути, который им оставался до таинственной долины, спешил исполнить эту просьбу.

– В приходе Ренко-Мойс, – начал так Фриц свой рассказ, – неподалеку от развалин замка, жила когда-то богатая *Тедвен*, знаете, та самая, которая сделала дочери на славу такое платье, что черт принужден был смеяться. В этом замке жила и наши святые рыцари, и злодеи русские, и монахи, и едва ли, наконец, не одна нечистая сила, – да простит мне Господь! – вы хорошо знаете Ренко-Мойс, фрейлейн?

– Ринген³², хочешь ты сказать? Как не знать мне? я только что не родилась в приходе рингенском.

– Припомните, за болотцем, в виду замка, пригорок. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой рощи, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним углом избоченясь, другим припав к земле. Силачу стоило только ее пошевелить, так она бы и

²⁸ Фискальный судья, фискал – в петровское время название прокурора, стряпчего.

²⁹ Минерва – римская богиня мудрости (миф.).

³⁰ Амтман – управляющий имением; начальник округа; вообще должностное лицо (нем.).

³¹ Так величали себя прежде лифляндские дворяне; Карл XI им это запретил. Отцы отечества, защитники справедливости! (лат.)

³² В Лифляндии места имеют иногда по три и четыре названия: немецкое, латышское, чухонское и русское.

развалилась. В этой избушке поселился, неизвестно откуда пришедший, мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинехонек. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба; во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета! Никто в домишке его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора хоть забеглого мальчишки; никто не выпил с ним рюмки вина. Только и слышны были заказ сапогов, или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые – а может быть, помогал ему окаянный, – шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне, благодаря нашим пасторам, такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу; епископы и архидиаконы, чтоб были без шума; рыцари, чтобы отражали копье татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо. Тогда еще не слышно было о ведьме-редукции, которая в недавнем еще времени ходила по мызам, и бароны жили попеваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую денгу; но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женится за неимением чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирал валившуюся хижину свою, все кряхтел, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно когда старики перебирали того или другого, разбогатевших от кладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда и сюда, дрожь его пронимала, и наш сапожник невидимо утекал из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам, собирались, да, видно, не выполнили. Храбро только языком шли на рать! В одно время он вовсе покинул работу, скрылся – и целый месяц не слышно было стука его молотка. Приходившие с заказами со страхом отступали от пустой избушки, в которой только двери, по блажи ветра, стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть; но, лежа на смертной постелешке, – знать, ему от хорошего житья уже тошно приходило! – послал за пастором рингенским и, стуча зуб об зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать.

«Вы знаете или слышали, святой отец, – так говорил сапожник духовнику своему, – какая жадность к богатству одолевала меня с молодых лет, но не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах, и, открыться уже должен, приступая к Страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие. Я потревожил кости трех витязей русских, схороненных в болоте близ Оденпе; сделал то же с римским рыцарем³³, который столько лет спит на высотах гуммельсгофских под баюканье лесов; всего на все разрыл я собственными руками в полные часы одиннадцать могил; одиннадцать покойников воззвал я от сна вечного». Тут у самого умирающего волосы встали дыбом; холодный пот выступил по нем; он закашлялся: ге! ге! ге! – так, что пастор хотел прочесть отходную; но сапожник, вздохнув немного, продолжал: «В долине за Менценом, окруженной со всех сторон лесом, – видело только небо! – была мне одна удача». Здесь опять духовник не мог расслышать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить: «Прихожу с кладом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишка мой едва лепился на жердочках; дверью меня ударило; филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснуло меня по сердцу; собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим: почти все золото, чистое, как луч солнечный! Только... были... пятна!.. Принимаюсь считать деньги... Вдруг одиннадцать голосов захохотали, двенадцатый вздохнул тихо; но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха...

³³ И донныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гуммельсгофские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то римский рыцарь.

ру... полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались». Не забудьте, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, что это – боже меня сохрани! – не я говорю, а умирающий сапожник.

– Помним, помним! – отвечали слушатели Фрица.

Кучер помахал себе в лицо шляпой, как опахалом, потом надел ее, хлопнул искусно бичом так, что, казалось, разрезал лес пополам, и продолжал свой рассказ.

– «Было к полуночи, – говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику, – явились ко мне, одна за другой, одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили... полотно; только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними *на мягкой траве, при свете месяца*. Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, сказали они мне, пока не выдашь нам двенадцатой подруги; без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Менценом *на мягкой траве, при свете месяца*. Вот уже одиннадцать дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатой, а кого – не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я без счета горшок с золотом в развалины замка и там заклал его в стене восточной башни, от среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии. Верно, меня, двенадцатого, девы требовали к себе в долину. Ради Отца Небесного, похороните меня там. Чувствую, что смерть близка... но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность... искупив хоть часть грехов моих... добрым делом». Заметьте, он не смел сказать – богоугодным делом. «Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она...» С этим словом сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходной. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов и объявлено им завещание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилия нескольких дюжих парней, вооруженных добрыми ломами. Показался горшок, вынули его: в нем лежало что-то, завернутое в каком-то полотне, раскрыли – и что ж нашли? – Человеческий череп, обернутый саваном!.. Посоветовались между собой и положили: череп в саване похоронить по христианскому долгу, на высоте против долины, в которую одиннадцать дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест; тело же сапожника, ради Отца Небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика, в темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал, слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу, сам священник тут же руку приложил.

– Что правда, то правда! – сказал пастор. – *Подобное* происшествие действительно записано в старинной метрической книге рингенского прихода. Мой собрат, – продолжал он усмехаясь, – управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад, много чудесностей поместил в этой книге; между прочими и сказание Фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долина, к которой подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения.

– Это не все еще, господин пастор! В долине творятся такие дела... и днем рассказывать их, так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что исстари, то есть с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев – заметьте, уже двенадцать – в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом *на мягкой траве, при свете месяца*, и потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение, смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать; а как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай привозить на высоту утопленников и удушенников. Но поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, лишь только положат

одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь он пропадает! Видали, что длинное, как шест, привидение из ущелья выползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, сказывают, девы не пляшут в долине *при свете месяца, на мягкой траве*. Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие, – я покажу их вам, как проедем мимо них.

– А бывал ли кто в страшном ущелье днем? – спросила девушка.

– Никто из живущих не смеет взглянуть в него, – отвечал кучер, – а зашел туда невзначай (сколько лет тому назад, не упомяну) прохожий егерь, нетутошный, из дальних мест. Видно, он не слышал об этих ужасах.

– Что ж он там видел?

– Долину, темную, как глубокий осенний вечер, серые камни, обрызганные кровью и обставленные вокруг косматого привидения, которое осветило его большими нечеловеческими глазами и встретило визгом, стоном и скрежетом. В ушах у егеря затрещало, глаза его помутились, рубашка на нем запрыгала, и он едва-едва не положил тут душонки своей. Только молитве да ногам обязан он своим спасением. С того времени всякий другу и недругу заказывает хоть полуглазом заглядывать в ущелье.

– Но тебе, Фриц, – спросил пастор, – случалось ли проезжать здесь в полночь и видеть привидение?

– Была на меня эта напасть прошлого года, когда ехал я за фрейлейн, – только я об этом ей не сказывал. Вот видите, господин пастор, до поездки этой я и сам посмеивался над ужасами долины, как охотник не боится медведя, пока не побывает в его лапах. Думал все, что тут какие-нибудь вздоры или шашни кроются. Была ночь месячная. Зная, что до Мариенбурга придется работка рыжакам, плетуся потихоньку и, подремливая, киваю головою, будто носом рыбу ужу. Вдруг, только что спустился с косогора в долину, рыжаки захрапели, наострили уши, съезжились и стали в пень; я – ну, ну! не тут-то было. Лошади мои дрожали, как будто домовой их объезжал, и ни с места. Смотрю вперед, и сам обомлел: вижу привидение, не ниже кареты, плетется через долину с мертвецом на спине. Я устави́л глаза в лошадей и, куда уж он девался, ничего не видал. Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили.

– А дев видал ли ты?

– Грех солгать, дев-то я ни разу не видал. Как прикажете, господа, останавливаться ли в Долине мертвецов?

– Что скажет наша Кете? – улыбаясь, спросил пастор свою соседку.

– Если за мной дело стало, – отвечала девушка, – так я просила бы вас сделать мне удовольствие остановиться в долине, страшной только ночью, а днем... это рай!.. вы увидите сами, папахен.

– Будь по-твоему, дружок! Слышишь ли, Фриц?

– Мое дело слушаться, – сказал, качая головой, кучер, – хоть бы приказали мне прикорнуть на лапках у самого сатаны; лишь бы моим рыжакам было где вздохнуть!

Глава третья Крупный разговор

*Поспорят, да сочтутся;
Итог все старьей подведут!
Да мы свой счет найдем ли тут?
«Запрос нерешенный»*

– Постараемся, – сказал офицер с видом таинственности, – свести на обратном пути знакомство с здешними духами.

Пастор, забывавший так же скоро оскорбление, как и приходил в гнев, видя, что конный товарищ искал завязать разговор, посмотрел на него с дружеской улыбкой и присовокупил:

– Духи еще беда невеликая! от них можно оборониться и молитвою.

– Ваша правда, господин пастор! – сказал офицер. – Ваша правда! А вот беда, как нагрянут сюда в ужасной плоти и образе русские варвары, которые бродят по соседству.

– По соседству? это в самом деле ужасно! – лукаво произнесла та, к которой относилась речь.

– Еще хорошо бы, – продолжал конный спутник, – если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские; а как, доннерветтер, сделают нам эту честь татары да калмыки! Вы, сестрица, конечно, не видывали еще этих зверьков? О! их можно показывать в железной клетке за деньги. Представьте себе движущийся чурбан, отесанный ровно в ширину, как в вышину, нечто похожее на человека, с лицом плоским, точно сплюснутым доской, с двумя щелчками вместо глаз, с маленьким ртом, который доходит до ушей, в высокой шапке даже среди собачьих жаров; прибавьте еще, что этот купидончик³⁴ со всеми принадлежностями своими: колчаном, луком, стрелами – несется на лошадке, едва приметной от земли, захватывая на лету волшебным узлом все, что ему навстречу попадается, – гусей, баранов, женщин, детей...

– И шведских офицеров – не правда ли? – примолвила сидевшая в карете.

– До сих пор был неудачен лов последних: не знаю, что будет вперед! Впрочем, не в первый раз получать мне щелчки из рук моей любезной сестрицы в разговоре о войске русском, которое имеет честь быть под особенным ее покровительством. Подвергая себя новым ударам, dokonчу то, что я хотел сказать о калмыках. Раз привели ко мне на батарею подобного уroda на лошади.

– Не страшного ли Мурзенку, которого имя с ужасом твердит вся Лифляндия? – спросил пастор.

– Нет! этот разбойничий атаман, которым напуганы здешние женщины и дети, покуда гуляет еще по белу свету. Мой пленник был не такой чиновный. Как бы вы думали, сестрица, что у него было под седлом? Конское мясо, скажете вы? – Нет! Вспомнить только об этом, так волосы становятся дыбом. – Младенец нескольких месяцев, белый, нежный, как из воску вылитый!

– Ужасно, если это не выдумка! – сказала девушка.

– Не намерен убеждать вас верить мне: а хотел я договорить, что этим уродом шведский артиллерист велел зарядить шведскую пушку и отослать его в русский лагерь.

– Мне совестно спросить офицера великой армии шведской, при каком месте происходил этот подвиг; скажу вам, в свою очередь, что одна жестокость стоит другой. Однако ж, если бы в самом деле вздумалось этим господам татарам пробраться на дорогу нашу?

³⁴ Купидон – бог любви у римлян, то же, что и Амур; у греков – Эрот (Эрос).

Пастор, видевший или думавший видеть, что неустрашимость его спутницы начинала несколько остывать, спешил на помощь ей против нападений офицера.

– Разве, – сказал он, – мы не имеем благородного и сильного защитника в нашем друге? От грозных орудий, которыми он запасся и умеет владеть, как ловкая швея иглою, целый десяток бедуинов³⁵ рассеется.

– А если их будет сотня? Вульф один; мы с вами, папахен, не сладим и с одним уродом, какого описал нам услужливый братец. Фриц же скорее ускачет со своим Арлекином и Зефиркою, чем за нас вступится. Что ж будет тогда с нами?

Кучер покачал головой и погрозил у своего уха пальцем, как бы упрекая за несправедливые выговоры. Капитан, желая повеселиться насчет храбрости сидевшей в карете, продолжал грубые шутки свои:

– Бедному, ничтожному шведу карачун дадут, господина пастора изжарят на вертеле, а вас, бесстрашная фрейлейн Рабе, увезут в плен, в дикую Московию, может быть, к падишаху их в...

– Нет, меня не разлучат с моим вторым отцом! – возразила девушка, прижимая к себе иссохшую руку старика.

– Фуй, фуй, Вульф! – вскричал пастор, у которого лицо вспыхнуло от необдуманных слов цейгмейстера. – Вы и в шутках показываете вещи в черном виде. Нынешний день вы, позвольте вам сказать, особенно доказали, что в ваших речах нет ни Грации³⁶, ни Минервы. Еще прибавлю, сударь, – и татары имеют начальников русских; а разве русские не христиане? разве они не озарены светом Евангелия так же, как и мы, лифляндцы и шведы? И они уважают не только своих попов, но и немецких пасторов: я слышал многие тому примеры. Тем более имею право ожидать их снисхождения, что могу изъясняться с ними без помощи переводчика... вы знаете, что я употребил несколько часов моей жизни на изучение языка русского.

– К сожалению, знаю! – прервал офицер. – Потраченный порох!

– Нет, сударь! – продолжал пастор, все более и более горячась. – Надеюсь, что мои орудия лучше защитят меня, нежели вас ваши мариенбургские заржавленные пушчонки. За меня Ювенал³⁷, Четыре монархии, Пуффендорф³⁸ с своим вступлением во Всемирную Историю, Планисферия³⁹, весь Политический Театр; все, все уже они стоят у меня на страже; все заговорят за меня по-русски и умилоостивят победителей! Вижу коварную улыбку вашу: «Все пустячки! об них и слухом не слышать в Московии!» – говорите вы. Нет, сударь, – об них известен ученейший человек в России, библиотекарь патриарха, которому я уже послал переведенные мною на его родной язык «Orbem pictum» и «Vestibulum» и с которым мы условились составить славяно-греко-латинский лексикон.

– Прекрасно! вы в военное время и переписочку ведете с неприятелями своего государя, врагами нового отечества вашего!

– Народы враждуют, брань кипит – просвещение делает свое, прокрадывается хитростью, где не пускают его силою. Мечи накрест, – музы через них умеют подавать друг другу руки! Изгнанные из одного места, они поселяются в соседстве назло и к несчастью гонителей. Браннолюбивый Карл напугал их в Швеции и Лифляндии: они отправляются вереницей к Петру, умеющему приласкать их. Швеция становится близорукою, бледнеет, слабнет; Россия, просвещаясь, богатеет, мужается. Горькая истина, господин цейгмейстер, но все-таки истина!

³⁵ Бедуин – араб-кочевник.

³⁶ Грации – богини красоты в Древнем Риме, то же, что Хариты в Греции.

³⁷ Ювенал – римский сатирик – обличитель пороков (род. в 60-х гг., ум. после 127 г.).

³⁸ Пуффендорф Самуил (Пуффендорф Самуэль) (1632–1694) – знаменитый немецкий юрист и историк.

³⁹ Планисферия – название старинного прибора для решения задач о времени восхода и захода светил, их долготы и высоты и т. д.

– Школьное умствование, вылупившееся из засиженного яйца какой-нибудь ученой вороны! Налетит шведский лев⁴⁰, и в могучей лапе замрет ее вещательное карканье! От библиотекаря московского патриарха ступени ведут выше и выше; смею ли спросить: не удостоится ли и царь получить от вас какую-нибудь цидулку?

– А что вам до этого, львам и орлам севера?.. Да, господин из свиты львиной, мариенбургская ученая ворона надеется скоро и очень скоро посвятить Великому Петру переводы Юлия Цесаря, Квинта Курция⁴¹, «*Institutio rei militaris*», «*Ars navigarteli*» и Эзоповы⁴² притчи. Он любит древних героев, потому что их в себе воскрешает. Не одни шведы будут учителями его в науке войны и мореплавания, может быть, и нашим книжечкам, и нам скажет он некогда спасибо! Эзоп – о! он, говорят, знает его наизусть и словами фригийского мудреца умеет обличать самонадеянность, невежество, бестолковое удалство, грубость, неуважение к старшим.

Здесь пастор отдохнул немного, потом, обратившись к своей спутнице, не смевшей сказать ни слова в защиту того или другого, ибо, по-видимому, уже между ними не было слова на мир, снова продолжал:

– Назло господину цейгмейстеру, чтобы он вперед не пугал тебя, Кете, и не говорил двусмысленностей, предсказываю, что в случае похищения нас ни жарить, ни печь не станут, меня – в уважение моего сана, моих трудов, тебя – в уважение твоего хорошего личика, которое и на Руси проглянуло бы, как солнышко. Напротив, нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово Божие, как здесь делаю; основал бы академию, *scholam illustrem*⁴³; а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина... Ой, ой! Фриц, по каким кочкам ты нас везешь!

– Настоящая Московия, – пробормотал сердито офицер, – песок, лес, кочки, буераки!

– А вот мы сейчас и в пригожей долине, в которой угодно было вам остановиться, – сказал кучер. – Слышите? слышите?

– Что такое еще там? – спросил пастор, которого гнев уже растрясся по ухабам.

– Я слышу, несет из долины запахом цветов, точно от букета, что у фрейлейн на шляпке. Авось либо духи не едят травы, и моим рыжакам будет что покушать. Вот она, Долина мер... (Фриц, озираясь кругом, не договорил речи своей.)

В самом деле, начинал редеть лес, показались излучины Вайдау, зеленые лужи, холмы, рощи и, наконец, уединенная, живописная долина. Речка пересекала дорогу поперек, бежа с левой стороны на правую; тут, удержанная горой, потянулась прямо, потом обогнулась влево дугой и, наконец, понесла далее свои ропщущие по камням воды, в извилинах своих все повинаясь своенравному направлению обступивших ее холмов. Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издали выющейся по лугу тенистою дорожкой; только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, которой не тронутую временем отлогость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачною оградою и вдруг вразрез остановившийся; далее самая вершина горы была на довольно большое пространство обнажена, а желто-глинистый бок ее, до самого низу, обсеялся в виде прямого, как стена, утеса. На этой-то вершине стоял необыкновенной величины деревянный крест, почерневший от времени и непогод; он господствовал над всею долиной, а из нее, казалось, захватил полнеба. Далее по кособору начиналась роща; из чащи ее выпадала дорожка. Левую сторону долины обсеяли несколько зеленых холмов, иные вполовину обнаженные, другие осененные красивыми рощами, примыкавшими к густому лесу, из которого чернелось *ущелье привидения*.

⁴⁰ Шведский лев – имеется в виду шведский король Карл XII (на гербе Швеции – изображение льва).

⁴¹ Квинт Курций – римский историк (I в. н. э.).

⁴² Эзоп – полубогендарный древнегреческий баснописец VI–V вв. до н. э., родом из Фригии, вольноотпущенник.

⁴³ Знаменитую школу (лат.).

Переехав мостик, карета повернула с дороги налево и стала там, где подножие холма и речка сходились углом. Сидевшая в карете выскочила из нее на мураву, не дожидаясь чужой помощи.

– Какие прекрасные места! – воскликнула она. – Если такова Московия, то...

Она хотела что-то сказать, не договорила и продолжала, смутившись:

– Тенистая роща ждет нас на этом холме; в ней, будто нарочно для нас, разостланы цветистые ковры.

– Есть из чего набрать венок для будущего победителя шведа Вульфа! – присовокупил офицер, сошедши с лошади и привязав ее к карете.

– Какие вы недобрые, Вульф! Этого я не помышляла даже в шутку. Могу ли не желать, во всяком случае, успеха тому, кто был другом моему отцу, кого любит так много мой благодетель, мой второй отец? Разве вы не принадлежите к нашему маленькому семейству?

– Полно, полно, дети! – сказал ласковым голосом пастор, которому Фриц помогал вылезть из экипажа. – Шутка пусть останется шуткой. Скорей мировую! аминь!

Прекрасная девушка протянула Вульфу руку; он спешил ее поцеловать.

– Вот так-то! – вскричал старик, всплеснув руками в знак одобрения. – Это лучше, чем смотреть друг на друга сентябрем. А знаете ли, друзья мои, все настоящие беды наши, не выключая и вашей размолвки, происходят оттого, что адрес, поданный лифляндцами блаженныя памяти королю, был худо сочинен.

– Адрес? – спросила в один голос примиренная чета с видом изумления.

– Да, точно! я вам это сейчас объясню. Если бы он написан был как должно, то есть, как я думал написать его, король принял бы его милостиво. Вспомните, что его величество, не разобрав еще хорошенько адреса, поданного депутацией, потрепал Паткуля по плечу и сказал ему: «Вы говорите в пользу своего отечества, как истинный патриот; тем больше я вас уважаю».

– И через несколько дней прозорливый государь велел палачу поласкать шею у почтенного лифляндца! – возразил с усмешкой офицер.

– Не нам – Богу судить деяния царей! Новому отечеству моему от этого не было легче. Но дело не в том. Возьмите в соображение, что блаженныя памяти король, наш милостивейший господин, приказал сделать эту экзекуцию через несколько времени, то есть тогда, когда успели его величеству протолковать несообразности адреса, чего не мог он при слушании его понять. Итак, вы видите, что все зло произошло, опять скажу, от неловкого сочинения адреса. В противном случае Паткулю не погрозили бы плахою, он не бежал бы из Стокгольма от мысли, что палач будет играть головою его, как мячиком, – головою, которой, надобно признаться, подобную не нахожу более в Лифляндии. И его ж, стыжусь выговорить, наш брат духовник, Нордбек, упрекает, почему он ушел от приговора закона! Но дело не в том. Тогда бы, то есть если бы адрес написан был, как я полагал его написать, Паткуль не находился бы в русском войске, не служил бы Шереметгофу – выговариваю имя этого полководца на немецкий лад. По-русски надобно сказать Шереметев; но дело не в том. Паткуль не служил бы ему живою лифляндскою ландкартой⁴⁴, не шевелил бы страстей в своем отечестве, война кончилась бы скорее, мы не боялись бы теперь соседства русских, вы не ссорились бы в разговоре о них... И бог знает, от каких бед избавил бы нас адрес, дельно составленный, обдуманый не горячими умами, но холодным стариковским рассудком. Если бы адрес...

Конца бы не было сильному, всесокрушающему потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «адрес» было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, – если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины, в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рощу; усердный конюший понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар

⁴⁴ Ландкарта – географическая карта (нем.).

терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвевал наших путешественников некою прохлада. Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколистственного манили их под себя к отдыху; однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы: он прилег в беседке, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобствами для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением *«Светлейшей Аргениды»*⁴⁵, одного из *превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен* (по крайней мере, так сказано было в заглавии книги), сочиненного знаменитым Баркляем. Подалее цейгмейстер задремал, прислонясь ко пню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. Фриц... но мы расскажем, что с ним случилось, чрез главу.

⁴⁵ Аргенида – героиня одноименного романа английского писателя Джона Баркляя (1582–1621).

Глава четвертая Кто они такие?

Уж разумеется, что это мы узнаем!
Хмельницкий

Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомить с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица.

Эрнст Глик⁴⁶ был пастором в лифляндском городке Мариенбурге, лежавшем близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством: он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где отец его, Христиан, также священствовал. Дед его Иоган был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он в наследство любовь к добру, от второго – любовь к просвещению; и с таким достоянием почитал себя богатым. Занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее местопребывание свое, он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему обывателей мариенбургских можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Мариенбурга, так и любовь и уважение успели найти Глика из отдаленных мест Лифляндии.

Добро делать считал он такую же потребностью, как пить и есть. Он был небогат; но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим: в этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого *скрытого* добра, которое преданные люди обыкновенно, в подобных случаях, разглашают человекам двадцати; не любил он также и открытой дележки. Зато с какою пламенной готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем, лекарством, пособиями всякого рода и даже хожалою (горничною, старою девкой Грете, часто заменявшею его в таких человеколюбивых подвигах), с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учение разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым!

– *Законы* должны делать свое, – говаривал он, – а я, как *человек*, свое.

Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличать в числе истинно бедных, и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев-несчастливцев, бродяг, тунеядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы работой рук своих доставать себе пропитание. Опекун злополучия, великодушный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами, более действительными к исправлению порока; он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе можно изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека: укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благотворительных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Мариенбург доски с надписью: «*Здесь не позволяется просить милостыню*». В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные, по тогдашнему времени, органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою

⁴⁶ Глик (Глюк, Эрнст) – пастор, ученый-филолог (род. в 1652 или 1655 г., ум. в 1705 г.).

лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем: по озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома, произвели в воздухе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались, при звуке мечей, громкие «виваты», и пропет был охриплым голосом почетнейших жителей кант⁴⁷, сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с Ликургом⁴⁸, Солоном⁴⁹ и многими другими законодателями. Торжество это извлекло у доброго старца слезы и радостью взволновало его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель канта, городской школьный мастер Дихтерлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением.

Слово Глика к пастве было слово отца к детям: он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях схоластической ученостью, которою голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву, с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно оговорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам человеческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и всему лифляндскому краю, был перевод на латышский язык Библии: с его времени Закон Божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу.

Ученость его вошла в пословицу. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего в тогдашнее время, русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливою любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды Мессии⁵⁰. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или иноверце, в соотечественнике или чужестранце, он питал уже с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеевича (так звали его запросто немцы) и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году («25-го марта» – это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре), смешавшись в толпе лифляндских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердцем, которое часто вернее исследований ума осязает истину, и с того времени, с целью далекою, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики; узнаем впоследствии, были ли они бесполезны.

Всякая фигура имеет свой свет и свою тень; идея человека соединяется всегда с идеей слабостей его: это сказано и пересказано уже до меня. Хорошо еще, когда свет преобладает над мраком; мы уже до того дошли, что стали говорить: хорошо б, если бы на людях, с которыми мы имеем дело, проглянуло где-нибудь белое пятнышко; а то бывают ныне и такие черненькие, как уголь, который горит и светит для того только, чтобы сожигать! Этим рассуждением приговариваюсь к тому, чтобы выиграть сколько можно более снисхождения к слабой стороне нашего Глика. Пылкость ума его, страсть к планам, нововведениям и усовершенствованиям нередко простирались на мелочи, нередко проявлялись в смешных, странных способах. В наш

⁴⁷ Кант (от кантата) – музыкальное произведение, торжественное по своему характеру; исполнялось певцами-солистами, а также хором в сопровождении оркестра.

⁴⁸ Ликург – легендарный законодатель Спарты, по преданию живший в IX в. до н. э.

⁴⁹ Солон – знаменитый афинский мудрец, законодатель и поэт.

⁵⁰ Мессия – помазанник, обещанный Библией; искупитель.

век назвали бы его прожектером. Но мы видели, что эта самая страсть произвела множество полезных, истинно благодетельных дел и потому не только была в нем извинительна – она заслужила даже благодарность сограждан и память потомства. Не средства, а цель достойна строгой поверки. И потому охотно отпускаем ему на суде нашем эту слабость. Но что было в нем порок истинный, так это своенравие. Когда он садился на конька своего, неугомонного, заносчивого, то никто не в состоянии был его удержать, хотя бы он скакал через рвы и плетни. Получив ли от природы направление к этому пороку, утвержденный ли в нем чувством собственных достоинств, дававших ему первенство в семействе, в училище и в обществе, избалованный ли всегдашним, безусловным согласием невежд и ученых, он забывал иногда смирение евангельское, неприметно поклоняясь своему кумиру. Если он что-либо задумал, расположил и утвердил в голове своей, то начертания свои почитал лучшими, какие только можно составить, по ним действовал и заставлял действовать людей, с ним тесно связанных и от него завишевавших. Ничто не могло заставить его переменить свое намерение, даже и тогда, когда обстоятельства заранее открывали ему заблуждения и ошибки его.

– Конец венчает дело, – говаривал он иногда, желая оправдать неуспехи своих предположений и расчетов, и, приближаясь к цели, нередко узнавал прискорбным опытом, что основание их было непрочно и ложно. К счастью имевших с ним дело и не слепо выполнявших его начертания, мщение никогда не входило в сердце его.

– Близорукие! ослепленные! невежды! – говаривал он об них в пылу гнева. – Умываю себе руки в несчастиях, которые могут с ними случиться.

Если же противились ярму его своенравия люди сильные, к видам которых привил он свои услуги, то соглашался скорее потерять свои пользы и разрушить давнишние связи, чем расстаться с начертаниями своими.

Глик давно лишился жены и детей. Взамен их Провидение послало ему такое существо, которое, пополнив все его утраты, подарило его лучшими утешениями в жизни. Это была воспитанница его, Катерина Рабе⁵¹. Отец ее, служивший квартирмейстером в шведском Эльфсбургском полку, умер вскоре после ее рождения (в 1684 году). Мать ее была благородная лифляндка, по имени первого мужа, секретаря какого-то лифляндского суда, Мориц. Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии⁵², приехала по делам своим на родину с малолетнею дочерью своею (нашей героинею) в рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени. Малютка осталась после нее круглою сиротой, не только без покровительства, но и без всякого призрения. Роопскому пастору Дауту случилось быть в Рингене; он взял ее к себе и дал ей убежище и содержание. В Роопе жила она несколько лет в унижении под тягостным господством пасторши, женщины злой и властолюбивой. Надобно было, чтобы судьба привела нашего доброго Глика в Рооп, чтобы он увидел худое обращение этой мегеры⁵³ с бедным приемышем, в котором заметил необыкновенную кротость и ум. Он легко выпросил ее у госпожи Даут, бывшей полною властелиншей в доме. С десяти лет Катерина Рабе жила у мариенбургского патриарха. С того времени расцветал этот прелестный цвет под нежными попечениями второго отца ее.

Девике Рабе минуло осьмнадцать лет. Черные глаза, в которых искрилась пронизательность ума, живость и доброта души, черты лица, вообще привлекательные, уста, неугомонно образованные (нижняя губа немного выпуклая в середине), волосы черные как смоль, которых достаточно было, чтобы спрятать в них Душенькина любимца⁵⁴, величественный рост, гибкий стан,

⁵¹ Катерина Рабе. – Так называют в романе Марту Скавронскую, ставшую впоследствии женой Петра I, а после его смерти – императрицей Екатериной I (1725–1727).

⁵² Вестготландия – область в Швеции.

⁵³ Мегера – олицетворение гнева и мстительности (греч. миф.). В переносном смысле: злая, сварливая женщина.

⁵⁴ Автор подразумевает Амура, невидимого супруга Душеньки, героини одноименной повести в стихах И. Ф. Богдановича (1743–1803), в основу которой был положен миф о любви Психеи и Амура.

свежесть и ослепительная белизна тела – все в ней было обворожительно; все было в ней роскошью природы. Душа ее была вылита по форме ее прекрасной наружности. Лишить себя приятной вещи, чтобы отдать ее бедному; помнить добро, ей сделанное кем бы то ни было; пожертвовать своим спокойствием для угождения другим; терпеливо сносить слабости тех, с которыми она жила; быть верною дружбе, несмотря на перемену обстоятельств, и особенно преданною своему благодетелю – таковы были качества девицы Рабе. Но достоинства души, редко достигающиеся в удел ее полу и которыми Провидение щедро наградило ее, были необыкновенная твердость и сила характера. Еще в детстве, слушая ужасные сказки, она смеялась, когда подруги ее от страха едва смели дышать. Проходя в сумраке вечера через кладбище, дети одного с нею возраста прижимались к старшим провожатым своим, шибко стучало сердце их: ее же было так покойно, как обыкновенно; она еще старалась отстать от других, спешила полюбоваться памятником, остановившим ее внимание, и тихими уже шагами их догоняла. Ей не было десяти лет, когда у соседа случился пожар: все в доме бегали и суетились; она взяла кувшинчик с водою и, когда спросили ее, куда идешь, отвечала спокойно: *залить огонь*. Твердость души девицы Рабе, столь рано умевшей пренебрегать опасностями, возмужав с летами, сделала ее способною к необыкновенным победам над собою и трудными обстоятельствами в решительные минуты ее жизни.

Некоторые из граждан мариенбургских, думая, что для бедной, незначительной девушки они слишком завидные искатели, заочно собирались просить руки ее, но при свидании с нею, по какому-то невыгодному для себя сравнению, решительно переменили намерение свое. Так, пришедши в храм любоваться искусством художника, истощившего гений свой в дивных изображениях, забываешь, для чего пришел, и, в благоговении повергнувшись перед святынею, остаешься в храме только молиться. Девица Рабе одна не знала могущества своих прелестей: жива, простодушна, как дитя, ко всем одинаково приветлива, она не понимала другой любви, кроме любви ко второму отцу своему, другой привязанности, кроме дружбы к Луизе Зегевольд (с которою мы впоследствии познакомим нашего читателя).

Только один избранник осмелился простирать на нее свои виды: именно это был цейгмейстер Вульф, дальний ей родственник, служивший некогда с отцом ее в одном корпусе и деливший с ним последний сухарь солдатский, верный его товарищ, водивший его к брачному алтарю и опустивший его в могилу; любимый пастором Гликом за благородство и твердость его характера, хотя беспрестанно сталкивался с ним в рассуждениях о твердости характера лифляндцев, о намерении посвятить Петру I переводы *Квинта Курция* и *Науки мореходства* и о скором просвещении России; храбрый, отважный воин, всегда готовый умереть за короля своего и отечество; офицер, у которого честь была не на конце языка, а в сердце и на конце шпаги. На него, как на отличного артиллериста, вместе со старым комендантом мариенбургской крепости, подполковником Брандтом, возложена была Карлом XII защита ее. Много прав имел он на уважение девицы Рабе: она и уважала его, любила, как друга отца ее, как брата, не более. Впрочем, он не был создан для того, чтобы возбудить в ком-либо нежную, истинную страсть, придающую часто любимому человеку достоинства, которых он не имеет, между тем как равнодушие к другому отнимает у него и те прекрасные качества, которыми его природа наделила. Старее ее двадцатью годами, с чертами лица, выражающими благородство, но грубыми, напитанный суровою жизнью лагерей и войны и потому в обращении даже с женщинами не оставлявший солдатских привычек и выражений, властолюбивый, вспыльчивый даже до безрассудства – таков был искатель руки нашей героини, любивший ее истинно, но сердцем ее не избранный.

Пастор, с своей стороны, имел также виды на цейгмейстера: здесь представлялся ему важнейший случай поработать головой и сердцем, выказать свои глубокие соображения, тонкое знание людей. Он видел, он осязал уже воображением знаменитое дерево, долженствующее изумить потомство плодами необыкновенными, – дерево, которого семя таилось в его рассад-

нике. Великие последствия должны были произойти от предполагаемого союза бедной воспитанницы его с незначимым артиллерийским офицером! Можно ли было упустить такой случай? Правда, к страсти его все устраивать примешивалось тогда и доброе намерение. «Кто искреннее меня желает счастья моей Кете? – рассуждал сам с собою Глик. – Что я обдумал для нее, то должно служить к ее благополучию... После смерти моей она останется в пустыне, где ни один голос друга на голос ее не отзовется, точно в таком состоянии, как была она после смерти своей матери. Неопытность ее опутают сетями. Она узнает нужду, горести. Ей необходим именно такой товарищ в жизни, каков цейгмейстер, мой приятель. Благородные и твердые его правила мне известны; он имеет состояние, которое обеспечит его навсегда от бедности. Умрет – и вдова храброго шведского офицера не будет забыта признательным королем. Наружность его не совсем привлекательна, согласиться надобно; но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою Кете. Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего; однако ж благоразумная мать, с помощью же *нашею*, умела заставить ее и заочно полюбить его и все так устроила, следуя *нашим* советам, что будущий союз их должен быть пресчастливейший. Жениха же моей Кете я знаю, как самого себя; она видит его каждый день и должна быть к нему неравнодушной. С ним она ласковее, нежели с другими мужчинами. Еще на днях подслушал я, как они толковали о разных чувствах, между прочим делали определение любви... О! Эти верные признаки не укроются от зоркой опытности старика. Нет, нет, лучшего мужа не иметь ей; лучшего супружества, какое им готовлю, существовать не может». Так обдумывал, рассчитывал и наконец скрепил пастор словами: быть *так*, сидя на коньке своем, с которого уже не было возможности его свести. Цейгмейстер не много думал и рассчитывал и, как отважный воин, решительно атаковал Глика с предложениями. Маленькая, сухая рука пастора ударила в широкую ладонь его, и вскоре, как водится, сначала околичностями, потом открыто объявлены воспитаннице виды лучшего друга первого и второго отца ее, любимца королевского, будущего коменданта мариенбургского, любезного, благородного, умного и прочее и прочее, что воспитатель мог прибрать из словаря мнимых и настоящих достоинств жениха. Между тем, на случай нечаянного отражения, он не замедлил присовокупить, что, для ускорения ее благополучия и его собственного спокойствия, согласие с его стороны дано и что она омрачит последние дни его жизни, сведет его безвременно в гроб, если откажется от счастья, которое так решительно ее преследовало. Девица Рабе, никогда не помышлявшая о важности такого предложения, сначала испугалась, потом, сама не понимая себя, стала равнодушнее слушать повторенные вызовы своего благодетеля, который в исполнении планов своих любил в точности поступать согласно с текстом Священного Писания: *толцйте, и отверзется*⁵⁵. Наконец твердая душа ее взяла верх над боязнью неприятного союза, ей так настоятельно предлагаемого. Она повиновалась. Сказав решительное: *иду!* – она не чувствовала в себе ни сильного трепета сердечного, ни страха будущего, ни сожаления о прошедшем и сама удивлялась своему спокойствию; только просила, внутренним советником побуждаемая, отложить союз этот на два месяца. Роковой срок должен был кончиться в последних числах августа. В продолжение этого времени Вульф, жених ее, остался для нее тем же цейгмейстером Вульфом, ею уважаемым, как друг ее отца и благодетеля, любимым, как брат, не более. По-прежнему пастор беспрестанно с ним ссорился и беспрестанно мирился; по-прежнему об оселок его раздражительного характера любил Глик точить свои мнения.

Мы видели воспитателя, воспитанницу и жениха ее в дороге. Куда ж едут они? – В Гельмет, к баронессе Зегевольд, ко дню рождения ее дочери Луизы, с которою познакомил пастор свою Кете *ради* милостивого покровительства сироте на будущие времена и с которою, между тем, вопреки неравенства состояний их, соединили ее узами дружбы нежные, благородные чувства и особенное друг к другу влечение, разумом не определяемое и часто не постигаемое.

⁵⁵ Толцйте, и отверзется – стучите, и откроется (старослав.).

Пять лет уже, как Рабе в одно и то же время посещала Гельмет или с пастором, или, в случае важных занятий, не позволявших ему отлучиться, одна, сопровождаемая доверенным служителем баронессы, а иногда женою гелметского амтмана Шнурбауха, которую нарочно за нею присылали. Без милой Кете для Луизы день ее рождения не был праздником; не видать Луизы в этот день было для верной подруги ее то же, что потерять целый год, потому что надобно было провести его в скуке до новой радостной эпохи. Сколько готовилось памятью сердца к этому дню таинственных узелков, развязываемых только в сладкие часы доверенности с единственным другом! Сколько нечаянностей, увеселений, игр изобретала к принятию своей бесценной гостью молодая хозяйка, ломавшая голову для них не менее пастора Глика, когда он думал о способах просветить соседственный народ. И все эти великие думы, все планы исчезали, как облако под ударом ветра, в чувстве удовольствия при первом взгляде друг на друга! Нередко мариенбургская жительница оставалась гостить по несколько месяцев в Гельмете. И как скоро проходили эти месяцы! Приезд и отъезд сливались в одну минуту: в первый забыта вся несносность разлуки, при втором радости свидания будто не существовали; слово *«прости!»* их все поглощало. Можно судить, с каким нетерпением ехала девица Рабе в Гельмет ныне, когда ей было столько нового рассказать и выслушать; язык их был только для них понятен, ибо это был язык сердца. Ключа к нему не могло найти холодное властолюбие, располагавшее ими, не спросясь голоса природы.

Цейгмейстеру сделано было мариенбургским комендантом Брандтом важное поручение, которое он должен был лично передать генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху в Гуммельсгофе, главной его квартире; а как мыза эта была на дороге в Гельмет, то он воспользовался случаем, чтобы сопутствовать приятелю своему и невесте, пока возможно было.

Фриц, наемный кучер баронессы, находившийся у ней в услужении более двух лет, из особенного уважения к пастору, всегда вызывался ехать за ним или его воспитанницею. Он вез их и нынешний раз с тою же готовностью быть им угодным. Чтобы хотя несколько удовлетворительно отвечать на вопрос, сделанный нам в начале главы, скажем о Фрице, что, несмотря на простоту его наружности и жеманство его движений, он был лукав, как дух, прельстивший нашу прабабушку в раю⁵⁶. Эту старую крысу трудно было обмануть; и кто бы это сделал, недолго бы прожил, как говорит пословица. Если нужно ему было отвести внимание желавшего проникнуть его тайну, то он искусным оборотом речи удалялся от предмета, который желал скрыть, останавливался и вертелся над другим предметом, по виду для него чрезвычайно занимательным, глупел и путался в речах до того, что уже нельзя было добиться от него толку. В таких случаях он поступал как пигалица, которая, желая отвлечь охотника от гнезда, где скрываются птенцы ее, кружится с жалобным криком над другим местом, как будто дает знать, что здесь таятся предметы, ей драгоценные. Где нужно было Фрицу самому вывести или получить что-либо для него занимательное, он также начинал издали и скрытыми, извилистыми путями вкрадывался в душу, так что кругом ее обшаривал. Обыкновенно казался он простым болтуном.

⁵⁶ Имеется в виду библейское предание о злом духе, давшем вкусить первой женщине Еве яблоко с дерева познания добра и зла.

Глава пятая Приготовление

*А то, как молотком, ударить вдруг с размаха,
Так, боже сохрани! они умрут со страха,
Когда же это все улажу без труда,
Терпенью приучать примуся их тогда.*

Хмельницкий

С версту вперед от Долины мертвецов, в виду менценской дороги, на холмистом мыску, обведенном речкою Вайдау, стоял красивый господский домик с такими же красивыми службами и скотным двором. Мыза эта защищалась от полуденного солнца березовою рощей, примыкавшею к сосновому лесу, наполненному столькими ужасами, о которых порассказал Фриц, от северных аквилон⁵⁷ – высоким берегом речки. Цветники, со вкусом расположенные и хорошо содержанные; небольшой плодovitый сад, в котором каждое дерево росло бодро и сильно, будто в соревновании одно перед другим, как члены юного, мужающего народа; зеленые пажити, на которых ходили тучные коровы; стоки, проведенные с высот; исправные водохранилища; поля, обещающие богатую жатву; работники, непраздные, чисто одетые и наделенные дарами здоровья, трудолюбия и свободы, – все показывало, что обладатель этого поместья любил жить порядочно и приятно. Казалось, что сюда перенесен был один из цветущих уголков Англии. Мыза эта принадлежала господину Блументросту, известному в Лифляндии медику. В него веровали, как в оракула⁵⁸; практика соответствовала его славе; деньги сыпались к нему в карман сами; между тем он не был корыстолюбив; к бедному и богатому спешил он на помощь с одинаким усердием. Блументрост много путешествовал, знал хорошо свет и людей, дорожил ученою славой и старался не только питать ее искусством своим, но и сделать ее известною в ученом мире разными важными по его части сочинениями и перепискою с университетами, считавшимися в тогдашнее время средоточиями наук. В Швейцарии познакомился он с Паткулем. Паткуль был несчастлив, угнетен, не имел отечества: добрый Блументрост полюбил его, помогал ему советами, утешениями и деньгами, не оскорбляя его бедности и несчастья. С того времени связи их укреплялись более и более; благоприятная перемена судьбы изгнанника, потом любимца Петрова, не переменяла ничего в их дружбе.

Мыза Блументроста была под особенным покровительством генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, которому он успел искусством своим оказать важные услуги; и потому к воротам, ведущим в нее, прибит был в раме, опутанной проволоочною решеткою, охранный лист, за подписью и печатью генерала, запрещавшего в нем, под строжайшею ответственностью, шведским войскам малейшее оскорбление жителям мызы и самовольное от них требование чего-либо. Жители ее, кроме хозяина... узнаем их сейчас, взойдя во внутренность красивого домика.

На балконе его, с которого видна была вкось высота с крестом, сидела в то время, как наши путешественники подъезжали к Долине мертвецов, прехорошенькая девушка лет шестнадцати. Томные глазки ее шурились, чтобы лучше видеть вдали. Казалось, она что-то подстергала. Одежда на ней была, какой не носят лифляндские женщины. Голову ее дважды обвила русая коса. Вместо ожерелья, на черной ленте, перевязанной около шеи, висел золотой крест, падавший на грудь, которую открывала несколько, в виде сердца, белая косынка. Стан ее приятно означал корсет из шерстяной материи каштанового цвета, с узенькими оплечьями, стяги-

⁵⁷ Аквилон – северный, северо-восточный ветер (лат.).

⁵⁸ Оракул – прорицатель воли божества у древних греков.

вавшийся голубою лентою, переплетенною с одной стороны на другую наподобие углов. Весь корсет был также обложен голубою лентой; такого же цвета два банта висели у конца его в середине самой талии. Широкие, тонкого полотна, рукава доходили немного ниже локтя, где они собирались в густые манжеты. Короткая юбочка синего цвета с пунцовыми полосами, поверх нее белый передник, выходявший из-под корсета, голубые чулки, башмаки со стальными пряжками, блиставшими от солнца, в руках ее соломенная шляпка с разноцветными лентами и букетом цветов – все обличало в ней жительницу южного края Европы. Долго смотрела она в ту сторону, где крест одиноко возвышался над долиной; наконец задумалась и склонила голову на грудь. В таком состоянии оставалась она несколько минут. Неподалеку от балкона, под навесом цветущих лип и рябины, сидели на длинной скамейке трое мужчин; все они разных лет, в различных одеждах и, казалось, хотя они все изъяснялись по-немецки, – не одного отечества дети. В середине сидевший был старец. На открытой голове его небольшой ряд серебряных волос, от времени сбереженных, образовал веночек; белая, как лебяжий пух, борода падала на грудь. Лицо его дышало благостыней. По-видимому, он был слеп. Широкая пепельного цвета одежда его, похожая на епанчу⁵⁹, с длинным, перекинутым назад капюшоном, была опоясана ремнем. На груди имел он маленькое хрустальное распятие, в котором солнышко, прокрадываясь сквозь листья дерев, по временам играло. Обувь его походила на сандалии. Двумя иссохшими руками держался он за ручку ветхой скрипки, приклоня голову на край ее, а другой конец ее опирая на колена. По правую сторону сидел крестьянин, похожий на немецкого мызника, лет пятидесяти или без малого; он был без верхнего платья, в длинном камзоле из тонкого красного сукна, с рядом блестящих пуговиц, в синих коротких исподних платьях, пестрых чулках и башмаках со стальными пряжками. Русые с проседью волосы его подбирались со лба назад и сдерживались роговым гребнем. Лицо его было полно и румяно, как осень; движения и разговор его – свободны. Он был скучен. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надобно было отгадывать его лета, то по приятным, тонким чертам его смуглого лица, по огню его карих глаз нельзя было б ему дать более тридцати лет; но проведенные по возвышенному челу его глубокие следы размышления, работы сильных страстей или угнетения гневной судьбы, предупредивши время, накидывали в счете лет его еще несколько. С открытой головы его бежали обильно на плечи кудри, черные как вороново крыло. Борода у него была обрита. Верхняя одежда его, из грубого синего сукна, походила на венгерскую куртку; камзол и исподнее платье такого же цвета были немецкого покроя; гибкий стан опоясывался черным кожаным ремнем с медною пряжкой; ноги до самых башмаков обрисовывались узкими шведскими штиблетами. Он был весь тревога: то погружался в глубокую задумчивость, то, вдруг встrepенувшись, как будто поражен был ожидаемым вестовым звуком, прислушивался с жадным вниманием; то вставал, прохаживался по цветнику быстрыми шагами, посматривал на девушку, сидевшую на балконе, и опять садился. Казалось, от нее должен был он услышать роковое для него слово; однако ж наверно можно было догадаться, что это не было слово любви. В глазах его выливалось нетерпение души беспокойной, грустной, которой предмет был далек, а не изъяснения нежного чувства предмету видимому. С левой стороны скамейки приставлены были к ней складной стул и какой-то продолговатый, неглубокий ящик, с приделанными к нему ремнями, вероятно служившими для поднятия и носки его. Напротив лавки лежал, развалившись на траве, огромный детина, вершков шестнадцати вышины, плечистый, сутуловатый. Это была олицетворенная доброта. Русые волосы его, небрежно распущенные по плечам, серый кафтан из *ватмана*⁶⁰, хотя и тоньше обыкновенного, башмаки без подошв из желтой кожи, стянутые, а не шитые, обличали в нем природного лифляндского

⁵⁹ Епанча – длинный, широкий плащ; короткая суконная накидка у военных, введенная Петром I.

⁶⁰ Ватман – грубое латышского изделия сукно.

домочадца или человека, его представлявшего. Он ничего не говорил, но объяснялся движениями рук так хорошо, что его всякий мог понимать.

– Что с тобою сделалось, Баптист? – сказал слепец, обращаясь к сидевшему по правую руку его.

– А что такое? – отвечал сухо вопрошаемый.

– Как что! ты нынче неразговорчив, как дух долины или наш немой.

– Эх, Конрад! ты не ведаешь моего горя: целые пять кругов сыру не удались, хоть брось их, а все по милости моей Розки. С некоторого времени Богу известно, что с нею делается: за что ни примется, валится все из рук! А кажется, ты знаешь, швейцары⁶¹ не любят хвастаться; мать ее считалась во всей округе Лозаннской первой молочницей; да и в девчонке виден был прок. Ныне же говоришь ей – не слышит; толкуешь – не понимает; сама говорит – путается. Бывало, резвится и прыгает, как вольная козочка наших гор; теперь быть бы ей одной да задумываться, как пастор над сочинением проповеди.

– Не больна ли она чем? Чадолюбивая природа открыла мне некоторые таинства свои на пользу моих ближних, и я постарался бы исцелить ее.

– О! кабы так, не помешкав приступил бы я к тебе с просьбою помочь моему детищу, которое, после смерти матери своей и в разлуке с родиной, заменяло мне их. Я знаю, как ты доточен на эти дела. Давно ли ты избавил меня от смерти? Порезав себе косою ногу, я обливался кровью; сам господин Блументрост не мог остановить ее: тебя подвели ко мне; ты обмакнул безымянный палец правой руки в кровь мою, текущую ручьем, написал ею на лбу моем какие-то слова...

– *Совершишася.*

– И кровь остановилась. Помню, как добрый господин всплеснул руками, ахал, пожимал плечами, обнимал тебя и обещал тебе груды золота за открытие твоей тайны.

– Я не согласился тогда; но скоро, скоро придет время сдать ее и многие другие нашему общему благодетелю. Не хочу, чтобы они умерли со мною. Да, мы говорили о бедной Розе! Спрашивал ли ты ее хорошенько, что у нее болит? не тоскует ли она по родине?

– Спрашивал, и только слышал: «Так, батюшка! ничего-с, батюшка! нет-с, батюшка!»

– Странно! (Тут слепец вздохнул глубоко.)

– Вот мы ее поставили караульщицею на балконе, а она, когда б ты видел, сидит, повеся голову на грудь, как убитая птичка. Ну право, я распрошаюсь скоро с добрым господином Блументростом, возьму котомку за плеча и утащу Розку в свою Вельтлинскую долину, в Божию землю, где нет ни войны, ни печали, ни угнетения: может быть, она расцветет опять на свободных горах ее, под солнцем полудня.

Слепец еще вздохнул и примолвил, настроивая свою скрипку:

– Сделаем последний опыт!

Сладив строй бедного инструмента своего, он заиграл швейцарскую песню: *Rance de vache*. Первые звуки ее заставили Баптиста затрепетать; он вскочил со скамейки, потом зарыдал и, наконец, не в силах будучи выдержать тоски, стеснявшей его грудь, вырвал скрипку из рук слепого музыканта. Роза, казалось, не слыхала песни родины.

– Что Роза? – спросил слепец.

– Роза? – вскричал, всхлипывая, швейцарец, смотря на нее. – Она... не дочь моя!

Немой утирал себе глаза рукавом. Он плакал оттого, что другие плакали. Слепец ничего не говорил, поникнув грустно головой. В это время младший товарищ, прежде сидевший с ними на одной скамейке и теперь прохаживавшийся по цветнику, взглянул на балкон и, увидя, что Роза вместо того, чтобы исполнять должность караульщицы, сидела в горестной задумчивости, из которой не могли, как он слышал, исторгнуть ее родные звуки, подошел к балкону и

⁶¹ Швейцары – здесь: швейцарцы.

произнес потихоньку одно слово: «*Фишерлинг*» — так, чтобы оно только до нее дошло. Девушка от этого магического слова встрепенулась, осмотрелась вокруг себя; покраснела, увидев под балконом свидетеля ее душевной слабости; взглянула на *возвышение креста*, с испугом закричала:

– *Знамя!* – и бросилась бежать во внутренность дома. Явившись в цветнике, она остановилась перед собеседниками, как преступница. Отец сурово посмотрел на нее; убийственный взор его говорил: *ты не швейцарка!* Видно было, что Роза собиралась плакать; но черноволосый мужчина быстро и крепко схватил ее за руку и увлек за собою. У тына, к стороне роши, была калитка. Могучею рукою распахнул он калитку и, втолкнув в нее девушку, сказал ей:

– Узнай все вернее и скорей! Если ты уж этого хорошенько не выполнишь, что скажет, что подумает о тебе господин *Фишерлинг*?

Глаза его в это время блистали, как огонь зарницы в удушливой атмосфере; слова его казались бедной Розе громом, ужасным, хотя еще издали гремящим. Исполнение их было для нее смертным ударом. Она скрылась, и черноволосый стал на страже, как изваянный гений, прикованный к гробнице.

Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц, сообразно местоположению, стратегически расположил свои действия. Надобно сказать прежде объяснения их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко от края роши, примыкавшей с одной стороны к ущелью привидения и простиравшейся назад на неопределенное расстояние; ибо чем далее взор в нее углублялся, тем более учащали для него преграду деревья и сети их зелени. Мимо лагеря наших путешественников проходила сквозь рощу тропа мало пробитая, которая вела, по-видимому, из Адзеля и спускалась с холма на мариенбургскую дорогу. Мы видели, что карета стала в долине там, где речка и подножие холма сходились углом. Лошадей привязал кучер к деревьям, в недалеком расстоянии, и задал им овса, которым запасся на дорогу; потом перескочил по камням через речку, пробрался сквозь рощу, в которой, сказали мы, терялась по косоугору дорога в Менцен, прополз по обнаженной высоте за крестом и у мрачной ограды соснового леса, к стороне Мариенбурга, вскарабкавшись на дерево, которого вершина была обожжена молнией, привязал к нему красный лоскут, неприметный с холма, где были наши путешественники, но видный вкось на мызе. Волнующееся знамя было оставлено в этом положении на несколько минут. Сняв его, Фриц опустился проворно на землю, пробрался тем же путем назад, подошел к лошади нашего цейгмейстера, расстегнул небольшой чемодан, висевший у седла, пошарил везде и вынул куверт⁶². Он был запечатан, но сургуч печати был так худ, что удобно ломался. Не думав много, кучер изломал печать, положил крошки сургуча в камзол, застегнул по-прежнему чемодан и, держа крепко в руках сокровище свое, нырнул в страшное ущелье. Здесь, следя глазами известные ему приметы, он пролезал ужом сквозь кусты, перескакивал через пни, как лань, и, задыхаясь, очутился наконец у огромного, бурею разорванного дерева, далеко уронившего косматый верх свой от дупловатого корня. Там, где треснуло оно, выставились два острые клыка, повыше коих светились два отверстия наподобие глаз. Кругом возвышались столетние вязы, дружно размахнув на жилистых ветвях своих широкотенные щиты; они заслоняли от этого места солнечный свет – настоящее царство мрака и ужаса! Между деревьями и дуплом кое-где торчали памятники великого земного переворота – огромные, красноватые, будто кровью обрызганные, камни, до половины вросшие в мох и представлявшие разные уродливые образы. Ни одна пташка не смела здесь показаться, не только оживить эту пустыню своими песнями. Только изредка шелест листьев, тревожимых ветром, и пресмыкающихся животных казался шепотом злодейского заговора; лишь по временам шуркал перелет филина, и крик его или скрип сухих деревьев, как стоны умирающего под ножом разбойника, жалобно раздавались. Окрестные жители раз-

⁶² Куверт – здесь: конверт.

глашали об этом месте много дивных ужасов, которых и сотую долю не рассказал Фриц нашим путешественникам.

Он осторожно постучался палочкой в дупло раз, потом два, наконец три раза.

– И, – произнес из дупла тонкий голосок.

– *Ли*, – отвечал конюх.

– *Я*, – продолжал прежний голосок.

– *Муромец!* – сказал отрывисто второй.

Вслед за этим словом выскочила из дупла швейцарка. Глаза ее блистали в сумраке, как ночью два светляка на распускающейся розе.

– Порядочно я вас дожидалась, господин Трейман! – сказала девушка испорченным немецким языком.

– Не могу же я бегать, как ты, швейцарская козочка! мне уж под шестьдесят, Розхен! Да скажи мне, здесь ли наш молодой старшина?

– Вы говорите о господине *Фишерлинге*? – отвечала она, смутившись, и лицо ее вспыхнуло, потом, оправившись немного, она продолжала: – Он был вчера здесь... ждал вас с нетерпением и уехал вчера же. Мне некогда с вами распевать. Угрюмый швед приказал узнать о новостях: кажется, он готов был перешвырнуть меня к вам, как мячик; а теперь того и гляди, что прибьет меня, если я не скоро явлюсь к его милости.

– Передай ему эти бумаги и скажи, чтоб он списал их поскорее, прислал с тобою же немедля и пришел с товарищем на адзельскую тропу; мимоходом шепни ему ж, что «звезда вечерняя» – невеста, «дорожный столб» – жених; пускай делают они из этого что хотят! Отца попроси, чтоб он стал в шагах пятидесяти отсюда с заряженным ружьем. Не забыть мне чего. Да, да, приведи с собою *Немого*. Теперь все.

Девушка ничего не отвечала, кивнула ему дружески и юркнула в густоту леса. Фриц дождался ее не без сердечного волнения и между тем говорил сам с собою таким образом: «Ну, если вздумается проклятому пушкарю сойти в долину к одру своему и осмотреть чемодан? Пропал я тогда! Вульф прихлопнет меня на месте, как комара, и не даст разу пискнуть. По крайней мере в последний раз дохну, служа моему господину, как приказывал мне ему служить умирающий отец его. Не своему брату, знатному дворянину, поручал он сына со смертного одра своего; нет, он поручил его слуге, дядьке, зная, что никто более меня любить его не может, что десять ножей противу сердца этого служителя не вынудят у него измены». Фриц казался тронутым: глаза его были мокры. «Некстати развежился ты, старик! – примолвил он, утирая глаза рукавом. – Кремень должен высекать огонь, а не воду. Господин мой трудится для блага своей родины, я – для него; Бог нам помощник! Ах! кабы Творец милосердный выбросил из сердца его одно злое семя... Пускай проказничает он со шведами как хочет; здесь доброе намерение – устроить судьбу его братьев-лифляндцев, как он говорит, верю ему и готов с удовольствием положить за него жизнь свою в этих проказах. Но... в делах любовных боюсь сердца его, мягкого как воск и так же, как он, изменчивого; боюсь, чтобы он не скушал бедной овечки! Что будет тогда с несчастным отцом? что будет со мною?..»

С этими словами Фрица одолела вещая грусть; но вскоре, приняв бодрый вид, он положил крестообразно руки на повалившееся дерево, припал ухом ко пню и сделался весь слух и внимание. Минут через пятнадцать вынырнула опять из дупла пригоженькая посланница. Щеки ее горели, грудь сильно волновалась; стоя возле нее, можно было считать биение ее сердца. За нею с трудом выполз *Немой*, пыхтя, как мех; он обнял дружески Фрица и погрозился пальцем на Розу.

– Как устало милое дитя! – сказал конюх, поведя одною рукою по лбу швейцарки, а другою принимая от нее куверт.

– Скоро ли я пришла? – спросила она.

– Ты не шла, а, верно, летела, как птичка. Что швед?

– Писал, чертил что-то с ваших бумаг и потащил товарища, куда вы назначили. Бедный! он, наверно, старинушку понесет, как пастух хворую овечку, а то куда слепому? и зрячему за ним не поспеть!

– Где твой отец?

– Стоит на карауле.

– О! да я его вижу сквозь сучья; он кивает мне головой, добрый старик! Здорово, здорово!.. Ступай же к нему, Розен, и скажи, чтобы он, как скоро увидит красный значок Немого на *высоте креста*, тотчас выстрелил из ружья по воздуху и немедленно воротился домой. Прощай, милое дитя! Бог и ангелы Его с тобою: да избавят они тебя от злого искушения!.. Но ты поблбеднела, Роза. Не дурно ли тебе от беганья и жару?

– Ничего, так, ничего... пройдет! – сказала она, щипля рукою передник свой.

Фриц глубоко вздохнул и примолвил, качая головою:

– Хорошо б, если прошло! Прощай!

Он поцеловал девушку в лоб, махнул рукою дюжему латышу и погрузился с ним в чащу леса. По приметам, которые Немой еще лучше знал Фрица, потому что ни разу не останавливался, служа уже ему вожатым, они пришли к лошадям. Здесь конюх поднял глаза к небу, чтобы благодарить его за что-то, расстегнул выюк, положил куверт с крошками рассыпавшейся печати на прежнее место и, опять застегнув выюк, перевернул его вместе с седлом на бок лошади; потом вынул из чушки⁶³ пистолет, разрядил его бывшим у него инструментом, положил его по-прежнему, высек огонь из огнива, которое имел с собою, прожег и разодрал низ чушки. Все это было делом минут пяти, не более. Лошади были напоены; из них Вульфова вручена Немому с особенными, строжайшими наставлениями. Сметливый Немой кивал только и, вдруг приняв важный вид, черкнул себе пальцем по шее, как будто желая дать знать, что он отвечает за исполнение головою. По расположению таким образом плана, давно придуманного, конюх спешил отнести дорожные припасы к путешественникам нашим.

⁶³ Чушка – кожаная кобура для пистолета, прикрепляемая к передней луке седла.

Глава шестая

Повесть слепца

Гони природу в дверь, она влетит в окно!
Карамзин

Солнце едва сдвинулось с полуденной точки, палящий зной, ослабевая неслышно, был еще нестерпим. Намет, под которым отдыхал пастор, не раскрывался. Девушка Рабе рассказывала Вульффу, каким образом, после двадцатилетних странствий и бед, наградилась верная и нелицемерная любовь *Светлейшей Аргениды*, и вдруг, остановившись, начала прислушиваться.

– Что вы, сестрица? – спросил цейгмейстер.

– Голоса человеческие! – отвечала она. – С адзельской стороны.

– Милости просим, оттуда некому быть, кроме приятелей. Впрочем, я ничего не слышу. Не обманул ли вас ветерок? Правда, теперь и до моего уха что-то коснулось.

В самом деле, сначала невнятно долетал до слуха смешанный говор, как ропот ветерка в листьях, потом стал яснее и громче, и, наконец, показались по тропе из Адзеля два человека, медленно по ней шедших. Наружность их возбудила внимание девушки Рабе. Это были слепец и черноволосый. Последний держал в правой руке круглую шляпу, между тем как другая рука служила спутнику вожатаем и опорой. Он с видимым терпением укорачивал шаги свои, соразмеряя их с ходом старца. Ящик и складной стул были прикреплены на спине его широкими ремнями, которые крестом перехватывали грудь и застегивались наперед двумя медными пряжками. Сверху стула висела еще небольшая котомка. Поравнявшись с девушкой Рабе и Вульффом, он приветливо им поклонился. Воспитанница пастора просила жениха своего пригласить странников закусить с ними, чтобы не упустить случая, как она говорила, сделать удовольствие ее воспитателю. Вместо ответа цейгмейстер спешил перехватить путникам дорогу.

– Добрые люди! – произнес он, обратившись к ним. – Вам жарко теперь идти. Не хотите ли отдохнуть с нами и разделить нашу походную трапезу?

– Благодарю вас, господин офицер, за себя и моего товарища! – отвечал младший путник. – Мы поднялись недавно и хотели только пробраться через рощу, чтобы на конце ее присесть. С удовольствием принимаем радушное предложение ваше и прекрасной госпожи, которой, как я заметил, вы посланник. Товарищ! – продолжал он с нежною заботливостью, обратившись к слепцу. – Мы пойдем теперь без дороги; берегись оступиться.

Слепец, крепко прижавшись к руке своего проводника, побрел еще медленнее. Нетерпеливая девушка спешила к ним навстречу, подхватила старика за руку с другой стороны и провела его к месту своего отдыха, приговаривая между тем:

– Сюда, сюда, дедушка, на эти подушки; тебе здесь будет покойнее.

– Голос... точно знакомый! – сказал встревоженный слепец, прислушиваясь к речам девушки Рабе, как будто стараясь припомнить, где он его слышал. – Голос ангела! Куда бы не пошел я за ним? Сяду и буду делать, что тебе угодно. Господь да пошлет тебе Свое благословение и да возвеличит род твой, как возвеличил род Сарры и Ревекки⁶⁴!

Товарищ его осторожно снял ношу свою, приставил ее к дереву, молча поклонился еще раз Вульффу и невесте его. Все общество расположилось, по удобности или по вкусу, кто на подушках из кареты, кто на мураве. Слепец, сидя на двух подушках, возвышался над всеми целою головою: казалось, старость председадала в совете красоты и мужества.

– Откуда вы, добрые люди? – спросила Рабе.

⁶⁴ Сарра и Ревекка – имена женщин, прародительниц древнееврейских родов в Библии.

– Мы не знаем, откуда и куда идем, – отвечал слепец, – а придем, куда всем, царю и селянину, бедному и богатому, назначена общая гостиница.

– Мы просто странники, – подхватил черноволосый, – идем из Адзеля в Менцен, отсюда проберемся, куда глаза взглянут и сердце позовет.

– Чем же вы живете? – спросила опять девица Рабе.

– Искусством нашим, – отвечал черноволосый. – Я играю на гусях, товарищ мой на скрипке и поет.

– Попав на эту бедную землю, – продолжал слепец, – все мы живем для того, чтобы дожить; но выполнить этого не можем, не нося тяготы один другого. Он помогает слепцу ходить; мы друг друга утешаем беседою и дружбой; оба, по возможности нашей, доставляем другим удовольствие и за это награждены. Такова в мире в разных видах круговая порука!

– О, да ты и мудрец, как я вижу! – возразил цейгмейстер.

– Много чести, господин! Бродя по белому свету, видел много людей, изучая природу, можно кое-чему научиться. Впрочем, в великой книге того, кто един премудр, мы читаем еще по указке.

– Ваша родина? – спросила девушка.

– Обоим нам родина Швеция, – отвечал слепец.

Капитан пожал руку старика так, что он поморщился, и воскликнул:

– Камрады-соотечественники! не одного ли поля ягоды?

– Я из Торнео, а товарищ мой из Выборга.

– Мое же гнездо судьба свила почти на перепутье этих мест, именно в Аbove. Я центр, как вы видите, а вы, фланги мои, отныне должны поступить ко мне в команду, и потому...

– Прошу заранее уволить нас от этой чести. Один, дряхлый, будет отставать, другой, может быть, погорячится и уйдет вперед, и ваша линия расстроится.

– Доннерветтер! он рассуждает как старый капитан. Ваше имя и прозвание?

– Мы люди простые, и потому нас просто зовут: меня Конрадом из Торнео, его Вольдемаром из Выборга. Думаю, что этими именами потребуют нас в день последнего суда; разве там прибавят к ним, по делам нашим, новые прозвания!

– Не в лесу же выросли вы, как дождевики! Верно, были у вас отец и мать? Кто твои, молодец?

– Я родителей моих не знал, – отвечал Вольдемар, – впрочем, повесть сиротства, бедности и нужд не может быть занимательна ни для воина, который все это почитает вздором, ни для прекрасной госпожи, начинающей только жить.

– Но ты много странствовал, много видел? – продолжал вопрошать цейгмейстер таким тоном, каким член комиссии военного суда отбирает по пунктам отзывы от своего подсудимого.

– Я и теперь под чужим небом; видел людей, которые везде одинаковы, – возразил младший музыкант, неплодовитый на ответы и приметно несклонный к откровенности. Голос его в этом возражении отзывался какою-то раздражительностью характера, несогласною с наружностью смиренного странника.

– Ответ короток и убедителен, как приклад часового, поставленного у поста, куда одни избранные, с паролем, имеют право входить. Дозволь, по крайней мере, спросить тебя, камрад: давно ли ты оставил Швецию?

– Лет... если не ошибаюсь... десяток.

– Столько, сколько греки осаждали Трою! Вероятно, сильное время, походы, удары неприятельские стерли с орудия шведского надпись, где оно вылитое, и прочее и прочее. Я разумею, что время, странствия, несчастья твои, Вольдемар, могли истребить отечество из памяти и сердца. Ты молчишь? Да, отечество.

До сих пор Вольдемар сидел несколько согнувшись, опустив голову на грудь; пасмурное лицо его выражало глубокую задумчивость, из которой выводил его только сильный голос вопрошателя, способный, кажется, разбудить и мертвых от сна; иногда улыбка бродила по бледным устам его; однако ж видно было, что приличие выдавливало ее на них без согласия сердечного или лукавство приправляло ее насмешкою своею. При повторенном слове «отечество» вся сила души его вылилась наружу, как будто в этом роковом слове заключалась единственная власть, могущая приводить ее в движение. Он затрепетал; глаза его засверкали, как мрачная туча образдившею ее молниею; лицо его, доселе помертвевшее, оживилось пробежавшим по нем румянцем; стан его распрямился; изгладились следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств.

– Отечество?.. Помню ли я его? люблю ль его?.. – произнес странник, и, несмотря, что голос его дрожал, он казался грозным вызовом тому, кто осмелился бы оскорбить его сомнением в любви к родине. Но вдруг, будто испугавшись, что высказал слишком много, он погрузился опять в то мрачное состояние, из которого магическое слово вывело его.

– Труба военная не красноречивее твоего голоса протрубила бы атаку перед рядами неприятельскими! – воскликнул цейгмейстер и потрепал дружески Вольдемара по плечу. – Этому коню не нужно давать шпор: видно, какой он породы. Ни слова более! – я тебя понимаю. Но добрых сынов отечества, кроме любви к нему, должно воспламенять другое, столь же святое чувство: любовь и преданность к государю. Правда, ты оставил благословенное северное царство, когда молодой государь твой не вступал еще на престол, и ты, вероятно, в странствиях своих не успел узнать и полюбить его.

– Это правда! Меня... не было тогда в... Швеции, – отвечал младший странник, несколько смутившись и потупив глаза, которыми боялся, может быть, встретиться со взорами его собеседников, чтобы они не прочли в них исповеди его помышлений. Потом, оправившись несколько, он продолжал довольно твердо: – Люблю государя своего, как могу. Чего хотеть возвышенного и постоянного от странника? Впрочем, вы не исповедник, я перед вами не кающийся грешник и не обязан давать вам отчета в делах своих, еще менее в своих чувствах. Придет, может быть, время, вы узнаете меня короче.

– Я не имею права атаковать приятельскую фортецию⁶⁵, где заперлась твоя тайна! – с усмешкою произнес Вульф и начал ломать голову насчет таинственного странника.

– Всякий человек есть загадка, – возразил слепец. – Добрая госпожа! мне послышалось, вы о чем-то спрашивали меня. Мы, люди старые, тугоньки на ухо.

– Нет, дедушка, – отвечала Катерина Рабе, бывшая доселе внимательно слушательницей разговора, которым жених ее завладел, и теперь обрадованная, что ей давали случай быть участницей в беседе. – Я не спрашивала, хотела бы спросить: правда ли, что на родине твоей среди лета солнце не садится, а среди зимы не бывает дня?

– Правда! Там горнило Божиих чудес. Край этот очень, очень далеко отсюда.

– Как же ты, слепой, сюда зашел?

– Перст Провидения указал мне друга, и он довел меня сюда. Юность любопытна; вижу, от нее не скоро отделаешься простыми ответами.

– Да, не скоро, дедушка! – примолвила собеседница с лукавой откровенностью.

– Вам хочется, добрая госпожа, узнать повесть моей жизни. Не всякому ее рассказываю; но – не знаю, почему я полюбил вас так скоро, – от вас не утаю ее.

– Расскажи, пожалуй, расскажи, мой хороший, мой добренький старинушка!

– Слушайте ж. Я родился там, как вы сказали, где среди лета солнце, не отдыхая, совершает путь свой, где несколько зимних дней – круглая ночь, как для слепца все дни жизни его. Отец мой, бедный ремесленник, жил в деревушке близ Торнео, он выделывал кожи диких зве-

⁶⁵ Фортеция (лат.) – крепость.

рей; матери я никогда не видал. Я был у него один как перст. Природа странно создала меня: в те лета, когда другие рвут играючи цветы на лугу жизни, я бегал детских игр, я уж задумывался и, тревожимый непонятным чувством, искал чего-то, сам не зная чего. Отроку, дома мне было тесно, мне было душно. В прогулках своих я не любил ходить по спокойным пробитым дорогам; нет, я старался быть там, где следа человеческого не видано, кроме моего, куда можно было пройти с опасением упасть и погибнуть или с радостною надеждой быть там первым. Как векша⁶⁶, вскарабкивался я нередко на один любимый утес мой, выдавшийся в море. По целым часам сиживал я на скале. С нее взорами скользил я по необозримой равнине вод, спокойных и гладких, словно стекло, то любовался, как волны, сначала едва приметные, рябели, вздымались чешуей или перекатывались, подобно нити жемчужного ожерелья; как они, встревоженные, кипели от ярости, потом, в виде стаи морских чудовищ, гнались друг за другом, отрясая белые космы свои, и, наконец, росли выше и выше, наподобие великанов, стремились ко мне со стоном и ревом, ширялись в блестящих ризах своих. Казалось, хотели они обхватить меня своими объятиями, которых холод я уже ощущал, и, ударяясь об утес, ропотно исчезали. От домашней трапезы убежал я смотреть на радужную игру северного сияния. Когда другие спали крепким сном, в полуночные часы спешил я украдкой, с трепетом сердечным, как на условленное свидание любви, проводить утомленное солнце в раковинный дворец его на дно моря и опять в то же мгновение встретить его, освеженное волнами, в новой красоте начинающее путь свой среди розовых облаков утра. Сколько раз в тиши осеннего вечера, один под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенным великолепным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмерности этой пустыни, исполненной величия и благости творца! В эти дивные, таинственные мгновения никто не мешал мне беседовать с моим Богом. Я забывал тогда дом, деревню, отца – все, что только знал от рождения; мне казалось – я был один в свете, я сбросил с себя в прах земную оболочку: мне было так легко, так сладостно... Изъяснить это никто не может; чувствовать же можно только во дни отрочества, когда демон страстей не разочаровал еще нашей жизни. Со слезами на глазах засыпал я там, где заставляли меня эти чары блаженства неземного. На другой день встревоженный отец, следя полуночника по мхам и кустарникам, находил меня спящим под открытым небом. Хищные звери могли бы съесть меня! За мои побеги я был строго наказываем.

– И поделом! – примолвил Вульф. – Лучше было помогать отцу работой и молиться дома, чем шататься, как сумасбродный, куда глаза глядят, без цели и пользы. Ты, верно, скоро исправился?

– Вы не отгадали, господин, я никогда не исправлялся, как лоза тростниковая, которую можно гнуть, втоптать в землю, исторгнуть с корнем, а не переломить. Отец мой думал по-вашему; так же рассуждали соседы наши, говоря: «Прежде, нежели на этом малом пуков десять розог не переломашь, из него ничего доброго не выйдет». Они не знали, и вы, господин, не знаете, как трудно побеждать сильные врожденные склонности; вам неизвестна эта жажда удовлетворять им, эта грусть, рождающаяся от препятствий. Запрещаемое сделалось для меня еще привлекательнее: так бывает обыкновенно. Через несколько времени все, что я видел великого, ужасного, прекрасного в мире, все, что теснилось в грудь мою, я хотел высказать, но высказать не простым разговорным языком; нет, по своему равному, странному характеру своему, я хотел это выполнить каким-то особенным, размеренным языком, о котором дал мне понятие один английский купец, приезжавший каждое лето в Торнео и оттуда заходивший всегда в нашу деревушку для покупки кож. Он полюбил меня, узнав мою склонность к поэзии, как он говорил; давал отцу моему хорошие барыши, чтобы он не наказывал меня за своевольство; нередко, в прогулках своих, брал меня с собою и читал мне что-то из книги. Он называл ее

⁶⁶ Векша – белка.

«*Потерянный рай*»⁶⁷. Я ничего не понимал, но мне было приятно, очень приятно его слушать; не зная языка, мог я, однако ж, с помощью слуха сказать ему, что он читал: песни ли ангелов, у престола Всевышнего поющих ему хвалу чистого сердца, или безумный ропот беснующихся на творца своего, бунтующий ад или красные, райские дни. Я мог, согласно понижению или возвышению голоса, разделять ударами руки моей какую-то правильную меру. Часто говорил я сам с собою, читал вслух создания восторженной души, повторял их и выучивал на память. Наконец, для меня не довольно было, что картины, мною изображаемые, казались мне живыми сколками с природы; не довольно было, что я сам наслаждался ими: я желал, чтобы и другие чувствовали все красоты их, чтобы они их хвалили. Когда я прочел на память одно из своих произведений отцу моему, он назвал меня сумасшедшим и с угрозами посадил за работу; когда я прочел его одноземцам своим, они покачали головою и молча со страхом отошли от меня, как от чумного. С нетерпением ожидал я лета. Оно пришло, и с ним явился англичанин, который один разумел меня. Услышав мои поэтические видения, как он называл их, он обнял меня крепко и, поцеловав в голову, сказал: «Ты – поэт! в Лондоне, в Стокгольме поняли бы тебя». Он присовокупил, что там выучился бы я писать и передавать бумаге творения свои так, чтобы они не умирали. Много, очень много говорил он мне тогда, чего теперь не припомню. С того времени слова его беспрестанно отзывались в моем сердце; они не давали мне покоя и во сне. «Ты – поэт!» – твердил мне беспрестанно какой-то демон. Я не выдержал, я бежал из дому родительского и направил путь мой в Стокгольм. Мне было двадцать лет. Много странствовал я, много терпел нужды и, за чем пошел, того не нашел. Как бродягу, в Рангедале остановили меня и записали в солдаты.

– Порядочная холодильня для стихотворного жара! – прервал речь его цейгмейстер. – Зато с этого времени повесть твоя начнет разогреваться воспоминанием солдатской жизни. Признаюсь, старик, люблю слушать рассказы изувеченного солдата о трудных походах, любимых полководцах, жарких сражениях. Полки движутся, делятся, строятся; стрелки вперед – как бесенята, перекидываются мячиками; дуру-бабушку с костылей долой: мигнул ей глазом – паф! и заколыхалась колонна неприятельская. Весело сердцу артиллерийскому! Летучие сметили проказы старушки и понеслись докончить палашом, что начала пушка: поле, как мост понтонный, стонет и, кажется, – зыблется от топота конницы: врезались, смяли, сокрушили, и – наша взяла! Виват! Здесь все жизнь, все движение! Вот что я люблю послушать, доннерветтер! Вот тогда-то я ушами вижу, сердцем слышу! А что мне до мяуканья, с кашлем пополам, ваших стихотворов на козьих ножках:

Фиялочка прелестна!
Почто в лесу цветешь?

или:

Она сидит, она глядит...

и с места ни шагу!

– Иному талант, иному другой, – возразил слепец с некоторой досадой. – Привычка – вторая природа. Сколько ни стучи по натянутому на барабане пузырьку, он ничего не издает, кроме однообразных звуков, прошу не погневаться.

– Старик! – вскричал Вульф, как порох, вспыхнувший от гнева. Он хотел что-то присовокупить, но девица Рабе убедительно посмотрела на него, и слова замерли на его устах.

⁶⁷ «Потерянный рай» – знаменитая поэма английского поэта и общественного деятеля Джона Мильтона (1608–1674).

– Оставьте меня слушать занимательную повесть старика, – сказала она, кивая цейгмейстеру, – он для меня ее рассказывает.

– Уж конечно, не для солдата! – примолвил слепец с сердцем. – На чем, бишь, мы остановились? Да, помню, помню! Волей или неволей дал я присягу шведскому королю служить ему. Казармы, стук ружей, приказы грозного капрала, военные эволюции, а иногда и экзекуции пробудили меня от сладкого сновидения. Воображение мое угасло, сердце одеревенело. Земля представилась мне смрадною глыбой; страсти, подобно гадам, выползали из нор своих и окружили меня; кандалы моего существования влачили по пятам моим. С лишком восемь лет был я под ружьем. Начальники называли меня бестолковым солдатом, товарищи – тюленем. Я искал утешений. В часы досуга я выучился играть на скрипке у органиста одной из церковей упсальских, где полк наш стоял гарнизоном. Он же был моим учителем чтения. Первая книга, которую я уразумел, была Псалтырь. Горячие слезы, капавшие на эту книгу, исполняли душу мою высшим наслаждением; с ними я обрел опять моего Бога. Время искуса прошло, и я, за слабостью зрения, получил отставку. Стряхнув у городского порога всю нечистоту неволи, я полетел на родину. Но как там все переменялось! Вместо дома отца я нашел его могилу. Можете судить, что я, неблагодарный, безрассудный сын, чувствовал, припав на нее! Виновник смерти отца, думал я, куда мне было обратиться? Я хотел видеть предметы, некогда мне любезные; и что ж: море показалось мне обширным гробом; над любимым моим утесом вились вещи враны, в ожидании, что приветливая волна подарит им для снеди остатки того, что был человек; черные, угрюмые тучи застилали от меня звездное небо; стон ветра нашептывал мне проклятия отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по селам; товарищ, столько же верный, как и горе, скрипка доставляла мне пропитание, песни божественные – утешение. Томимый жаждою познаний, я возвратился, свободный, туда, где жил поневоле. Сначала определен я при Упсальском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нем студентом. Смейтесь, господин офицер! вы видите перед собою упсальского студента богословия и поэзии!.. Мне ль оскорбляться вашим смехом – и об Нем, чудясь, спрашивали: откуда Ему сие?.. Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главою угла? От Господа сие соделалось, и есть дивно в очах ваших?.. В университете любил меня особенно один профессор, Томас Бир...

– Извините меня, господин цейгмейстер и вы, фрейлейн! – сказал Фриц, подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закускою, на дорогу запасенною.

– Ты нас испугал, Фриц! – прервала его девица Рабе.

– Виноват! – продолжал кучер с лицом светлым, как полный месяц в морозную ночь, потирая себе ладонями по груди, будто у него что-нибудь тяжелое отходило от сердца.

– Я обрадовался, что вижу людей живых в этой долине; между тем услышал о Бире и хотел спросить: не сын ли его наш Адам?

– Сумасшедший, как отец его! – возразил цейгмейстер. – Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в богадельне; этот все смотрит под ногами и болтает беспрестанно об усовершеннии рода человеческого!

– Пускай это говорят те, которые сами не видят далее ядра, пущенного наторелым бомбардиром! – воскликнул слепец с негодованием. – Да, я знаю Адама; он любил меня, как родного, когда я был еще привратником. Отец его прикрыл наготу моего ума и души крылом серафима. Божий человек! Он был добр, яко голубь, и мудр, яко змий. Ему дано было свыше уразуметь таинства природы, слагать слова из великих букв ее, начертанных перстом Всмогущего на небесах, на каждой былинке и камне, во взорах, на челе и руках смертного. И это называете безумием вы, слепотствующие очами душевными, вы, которые боитесь оторвать от

праха звено, приковывающее к нему дух ваш? Персть⁶⁸ и в персти погрязли! Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, иже воздадут ему плоды во времена своя.

Грудь слепца сильно волновалась; негодование перехватывало слова его; также и Вульф едва удерживал свою досаду. Вольдемар, положив руку на колено старика, ласково прервал его речь:

– Друг! ты забыл о своей повести.

– Скоро конец ее! я это знаю... Да... помню, помню... я сделался болен. Неизвестно мне, долго ли страдал я, чем, куда девался мой благодетель, сын его, что со мною было; известно мне только, что после моей болезни я ослеп. Поверите ли, добрая госпожа, с того времени я весь обновился: казалось, спало с меня проклятие отца и с ним бремя жизни; возвратились ко мне первые дни моей юности и с ними все, что меня обворожало. Слепой, я прозрел. Не одни картины прежнего знакомого мне моря, любимого утеса, северного сияния и неба, прекрасного ночного неба во всем его великолепии, со всею Божьею благодатью, обстают меня: часто представляются мне такие дивные видения, за которые цари заплатили бы горами золота. Вскоре Провидение даровало мне новое благо. Вольдемар нашел меня, где – не знаю; он так же, как и чудные видения мои, не покидает слепца. Я свободен, счастлив. Чего мне желать более? Когда же Вечный воззовет меня к себе, последняя молитва моя, чтобы в минуты смерти просияло надо мною прежнее, знакомое небо моей юности и рука единственного земного друга захватила на сердце последнюю искру жизни, этот последний завет ему любви моей. Товарищ! где ты? дай мне руку свою.

Так кончил слепец повествование свое, и высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга.

⁶⁸ Персть (церковнослав.) – прах, пыль.

Глава седьмая

Видение

*Что прежде сбылось, что будет вперед,
О чем ты замыслил и что тебя ждет,
Все знаю!..*

Подолинский

Девушка Рабе слушала Конрада из Торнео с видимым участием; неоднократно, в продолжение рассказа, слезы навертывались на глазах ее. Она выразила свою благодарность с таким добросердечием, к тому ж в звуках ее голоса было для слепца столько могущественного, что он не раскаивался в откровенности своей...

Цейгмейстер думал: «Недаром этого чудака на родине его называли безумным – в жизни его не вижу ничего рассудительного, основательного».

Прекрасная спутница изъявила желание посмотреть на гусли, ею никогда не виданные, и Вольдемар спешил удовлетворить любопытство ее, не только раскрыв их, но и объяснив их устройство. Внимание рассматривавших этот инструмент привлекла также раскрашенная картинка, приклеенная ко внутренней стороне крыши. На ней грубо изображены были несколько густых деревьев, посреди которых сидел в гнезде урод необыкновенной величины: он надувался и выпускал из огромного рта воздух наподобие снопа лучей. Против него гордо выезжал на борзom коне рыцарь, устремив на противника стрелу по натянутому луку. Под картинкою начертано было строк до двадцати на неизвестном для наших наблюдателей языке.

– Ба, ба, ба! – вскричал Вульф. – Если б не борода, я принял бы молодца на дереве за майора трабантского⁶⁹ его королевского величества полку, Фейергрока, когда он из-за батареи стаканов и бутылок пускает в подступающих к нему фузеи⁷⁰ табачного дыма. Смерть на пуховике, если я лгу! Расскажи-ка, любезный, что изображается на этой картинке и что за тарабарщина написана под нею?

– Картина взята из русской сказки «*Илья Муромец*», – отвечал Вольдемар. – Храбрый, великодушный рыцарь, защитник родной земли, стариков, детей, женщин – всего, что имеет нужду в опоре храброго, едет сразиться с разбойником, которого называют *Соловьем*; этот Соловей, сидя в дремучем лесу на девяти дубах, одним посвистом убивает всякого, на кого только устремляет свое потешное орудие. Под картинкою русские стихи.

– Откуда ж шведу могло достаться это малеванье? – спросил цейгмейстер.

– Несколько лет тому назад я сам был в России.

– В Московии, хочешь ты сказать? Ах, это очень любопытно, – подхватила с живостью собеседница.

– Я поштался и по России, – чего не делает нужда! – прожил несколько лет в резиденции царя, в Москве, научился там играть на гусях и языку русскому у одного школьника из духовного звания, по-нашему – студента теологии, который любил меня, как брата, и, когда я собрался в Швецию, подарил мне на память этот ящик вместе с картиною, как теперь видите. С того времени берегу драгоценный дар московского приятеля. О! чего не напоминает он мне!

– Поэтому Московия не совсем варварская сторона, как ее описывают, вероятно, неприятели ее? – спросила девушка Рабе. – Поэтому и там любят искусства?

⁶⁹ Трабанты (драбанты) – телохранители.

⁷⁰ Фузеи – кольца.

– Начинают любить, – отвечал гуслист. – Царь Алексей Михайлович и его сын Федор уж много сделали для просвещения России. Другой сын его... но он враг Швеции: я не смею говорить об нем.

– Почему ж, мне кажется, не хвалить хорошего и в неприятеле? Батюшка рассказывал мне, что Петр – великий государь, достойный поравняться с нашим Карлом. Имел ли ты когда-нибудь счастье, добрый странник, видеть его?

При этом вопросе Вульф насупил густые брови. Вольдемар, приметно смутившись, отвечал:

– Да... я его видал. Наружность героя и царя в полном смысле! Взгляд его... ах! этого взгляда никогда не забуду!

– Странник! – возразил цейгмейстер с обыкновенным жаром и необыкновенным красноречием. – Ты говоришь о геройстве и величии царей по чувству страха к ним, а не благородного удивления. Всякий говорил бы так на твоём месте, встретив в первый раз грозного владыку народа. Простительно тебе так судить в твоём быту. (Вольдемар с усмешкой негодования взглянул на оратора, как бы хотел сказать: «Не уступлю тебе в высокости чувств и суждений!» – и молчал.)

Вульф продолжал свою речь:

– Ты не смотрел в очи северному льву; ты не видел Карла в ту минуту, когда он, по колена в воде, вступал на берега Дании, встреченный тучею пуль неприятельских и с жадностью прислушиваясь к свисту их. «Отныне шум этот будет моею любимой музыкой!» – сказал двадцатилетний герой, и голубые глаза его воспламенились в первый раз огнем мужества, которое с того времени не потухало; лицо его вспыхнуло первым желанием победы и осенилось первою думою о способах побеждать. Я слышал эти слова, я видел этот взгляд, поймал на лице его выражение души великой и, признаюсь, доннерветтер, за эти минуты готов бы целую жизнь мою держать стремя у Карла. С воспоминанием о них умру сладко. Да! пока мысль может ловить эти минуты, русский не возьмет ни одной батареи, на которой я буду! Клянусь в том концом шпаги Карла Двенадцатого. Вульф не отдастся живым в плен, и мертвеца с этим именем не соберут остатков на поругание его.

Все слушали цейгмейстера с особенным вниманием. За речью его последовала минута молчания, как после жаркой перестрелки настает в утомленных рядах мгновенная тишина. Каждый из собеседников имел особенную причину молчать, или потому, что красноречие высоких чувств, какого бы роду ни были они, налагает дань и на самую неприязнь, или потому, что никто из противников военного оратора не мог откровенно изъяснить свои чувства. Вульфу, после краткого отдыха, предоставлена была честь первого выстрела.

– Виват! – воскликнул он торжественным голосом. – Моя канонада оглушила вас до того, что вы стали в тупик и забыли спросить, о чем проповедует мой Фейергрок с высоты своей лиственной кафедры. Прочитай-ка нам, любезный камрад, русские стихи, написанные под картиною.

– С удовольствием, храбрый и любезный капитан! – отвечал Вольдемар и начал читать стихи:

Наезжал Илья на девяти дубах,
И наехал он Соловья того,
И слышал тут разбойник сей
Того ли топу конинова
И тоя ли поездки богатырския;
Засвистал он по-соловьиному,
А в другой зашипел по-змеиному,
А в третий зарывкал по-звериному —

Под Ильею конь окарачился...
Вынимает он калену стрелу
И стреляет Соловья-разбойника...

– Как мне нравится этот язык! – сказала девица Рабе. – Попрошу господина пастора, чтобы он выучил меня ему.

– Может быть, придет время, что вы станете учиться русскому языку; может быть, лифляндцы...

– Лифляндцы? никогда! – прервал с досадою Вульф. – Ты забыл, швед, что страна здешняя находится под владычеством непобедимого Карла. Скорей повесит он свои шпоры к большому колоколу московскому и заставит его говорить на своем языке, чем лифляндцы будут вынуждены когда-либо знать по-русски. Предоставим одной сестрице моей Рабе учиться варварскому наречию у всезнающего нашего Глика, именно для того, что я не люблю русских дикарей, или потому, что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к Алексеевичу.

– Шутите сколько угодно, братец Вульф, а я в своем пристрастии тверда, – возразила Катерина Рабе. – Уважаю, боюсь даже Карла, героя, победителя, с его голубыми глазами, блистающими умом военным, которого у него никто не отнимает; но люблю Алексеевича, замкамского плотника, солдата в своей потешной роте, путешественника, собирающего отовсюду познания, чтобы обогатить ими свое государство; люблю его, несмотря, что он неприятель моего короля... Может быть, я это говорю потому, что мне это натвердил и крепко внушил мой благодетель. Впрочем, что может суждение бедной, неизвестной сироты на весах, где лежат окровавленные шпаги?

Девица Рабе произнесла эти слова с особенным сердечным волнением: взоры ее блистали необыкновенным огнем, щеки ее горели.

– Вот какими бреднями опутал голову моей сестрицы велемудрый господин пастор! – воскликнул цейгмейстер, пожимая плечами. – Безмолвствую перед ней... но ты, швед? – продолжал он, обратившись к младшему страннику с видом упрека.

– Не принимайте слов моих в худом смысле, господин офицер. Верьте, что никто более меня не желает долгоденственной славы моему отечеству. Я хотел сказать, что два великие народа...

– Два великие народа? Гм! Видно, свои и чужие согласились бесить меня... – возразил цейгмейстер. – Однако ж продолжай, продолжай. Хочу выпить горькую чашу до дна.

– Шведы с русскими могут помириться; тогда произойдут большие перемены в здешнем краю; торговые, дружеские сношения скрепят союз лифляндцев с соседями их; тогда, может быть, эта прекрасная госпожа захочет съездить во Псков, в Москву.

– Что ей там? чего там смотреть: не Соловья ль разбойника?.. Скорей она поедет в Стокгольм.

– Неисповедимы пути Господни! – произнес слепец. – Кто знает, какой путь написан ей в Книге судеб.

– Ей, Катерине Рабе, написано быть за шведским офицером. Катерине Рабе, приемышу пастора Глика, кажется, не бесчестно идти за королевско-шведского цейгмейстера. Понимаете ли вы, странники? – вскричал Вульф раздраженным голосом, который испугал даже невесту его.

Слепец, казалось, не слышал этих восклицаний; схватив дрожащую руку девушки, он забылся в каком-то внутреннем созерцании; незрящие очи его горели; наконец, возвысив вдохновенный голос, как бы презирая в небе:

– Вижу, – сказал он, – вижу: из сумрака выступает дева, любимица небес; голова ее поникнута, взоры опущены долу, волосы падают небрежно по открытым плечам; рдянец стыдливо-

сти, играя по щекам ее, спорит с румянцем зари утренней, засветившей восток. Встает алмазная гора, дивною рукой иссеченная. Оступилась дева на первой ступени, еще ночью тенью одетой, смиренно преклоняет колени – и вздох, тяжелый вздох, вылетает из груди ее. Вскоре, обновленная жизнью неземной, встает и шествует далее, не поднимая очей своих. Еще четыре ступени, и готов алтарь... и розовый венец обвивает ее прекрасное чело. Старец совершает над нею дивное таинство. Взоры ее уже не опущены долу, волосы искусно подобраны назад. Изумленная, она озирается кругом: она не верит своему счастью, но уже его ощущает. Еще четыре ступени – и розовый венец сменен алмазною короною...

– Сумасшедший! Ха, ха, ха!

– Смейся!.. я тебе говорю: *на дева*, которую я видел, *лежит корона!* Эта рука мне знакомая. Я смотрел ее некогда у десятилетней девочки в Роопе, в пятый день апреля.

– В Роопе?.. Я там жила... – сказала испуганная и вместе изумленная девица Рабе, потирая себе пальцами по лбу, как бы развивая в памяти прошедшее. – Пятое апреля день моего рождения...

Между тем и Вольдемар обратил на нее свои пронизательные взоры; он, казалось, узнавал в ней давнишнюю знакомую.

– Не припомните ли, – спросил он ее, – двух странников, похожих на нас? Один был помоложе меня, другой такой же слепец, как и товарищ мой. Может статься, что вы их видели лет восемь назад?

– Да точно, припомню, как будто сквозь туман, – отвечала девушка, понемногу ободряясь, – странники были похожи на вас; они тогда зашли на двор к господину пастору Дауту, у которого я жила в услужении.

– Смиряться вознесется! – воскликнул слепец.

– Подле меня стояла большая датская собака, которая напугала прохожих.

– Я вздрогнул от ужасного лая собаки; такого еще никогда не слыхивал: мне показалось, что буря заревела, сорвавшись с цепи своей. Невольно прижался я к руке своего молодого товарища.

– Тогда, – примолвил Вольдемар, – прекрасная малютка, – как теперь вижу, – приняв гневный вид и грозя пальчиками своими, повелительным голосом закричала на собаку: «Смотри, Плутон, берегись, Плутон!»

– Точно! у нас была собака этого имени, – сказала девица Рабе, покраснев.

– И лай собаки затих, как замирает буря на голос повелителя стихий!

– Грозное животное, – прибавил младший путник, – легло с покорностью у ног своей маленькой госпожи, махая униженно хвостом. Тогда-то слепой друг мой захотел увидеть поближе дитя; он взял ее за руку и осязал долго эту руку. Тут закричала на нее хозяйка дома, грозясь... даже побить ее за то, что впустила побродягу. Товарищ мой, сам прикрикнув на пастора, сказал то же, что он теперь говорил вам, держа вашу руку.

– Бедные! вас тогда выгнали за меня со двора и не дали вам даже выпить.

Вульф, молча, с коварною усмешкой слушал этот разговор обоих странников с девицею Рабе и вдруг разразился каким-то диким, принужденным смехом, но вскоре, одумавшись, просил у нее прощения, просил даже прощения у Конрада из Торнео. «В самом деле, над кем смеяться мне? на кого мне сердиться? – говорил он про себя. – Одна – женщина, другой – убогий, сумасшедший старик!» Катерина заметила ему только, что громким смехом своим мог он разбудить пастора. В самом деле, приметно было по движению колебавшегося зеленого намета, что Глик просыпался. Гуслист, предупрежденный догадливою собеседницей о соседстве его, посмотрев сначала на Фрица, тихо условился о чем-то с товарищем, подал слепцу скрипицу, поставил свой музыкальный ящик на складной стул, и пальцы его запрыгали по струнам. Звуки возвышенные, трогательные звуки раздались по роще. Слепец, вторя ему на скрипке, дрожащим тенором с особенным чувством запел под музыку своего товарища псалом: «*Господь пас-*

тырь мой, я не буду в скудости». Невольно присоединила к ним голос свой девица Рабе, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыкантов. (Надобно заметить, что в мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан.) Вульф поникнул головой; сам Фриц забылся на время и, казалось, молился. Пастор, как бы обвороженный, остался неподвижен в том самом положении, в каком застал его первый стих божественного песнопения. Несколько мгновений после того, как звуки умолкли, он начал протирать себе глаза и не знал, верить ли ушам своим: ему казалось, что все это слышал он во сне.

– Папахен! тебе нездорово так долго спать, – сказал ему знакомый голос и вывел его из этого обворожения.

Воспитанница объяснила ему всю тайну концерта, составленного так неожиданно; рассказала ему о старинном знакомстве своем, ныне подновленном, о занимательной повести слепца, об участии, которое оба странника так сильно возбуждали к себе, хотя один из них казался несколько помешанным в уме; и, предупредив таким образом своего воспитателя в их пользу, она спешила свести их вместе.

Пастор скоро полюбил поэтического старца и таинственного его спутника. Он терялся в различных догадках насчет последнего, тем более что странническому состоянию его изменяла благородная наружность вместе с возвышенностью мыслей и чувств, по временам блиставших из кратких ответов его, как золотая монета в суме нищего. Вольдемар был неразговорчив, и, когда примечал, что с ним хотят сблизиться откровенностью и ласками, что любопытство искало слабой стороны, куда могло бы проникнуть до тайны его жизни, он облакал себя двойною броней угрюмости и лаконизма. Догадливый товарищ его в затруднительных случаях приходил к нему на помощь речениями из Священного Писания и поэтическими видениями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.